

~~6718.982~~

84p7 (2p - 4kem)

0-38

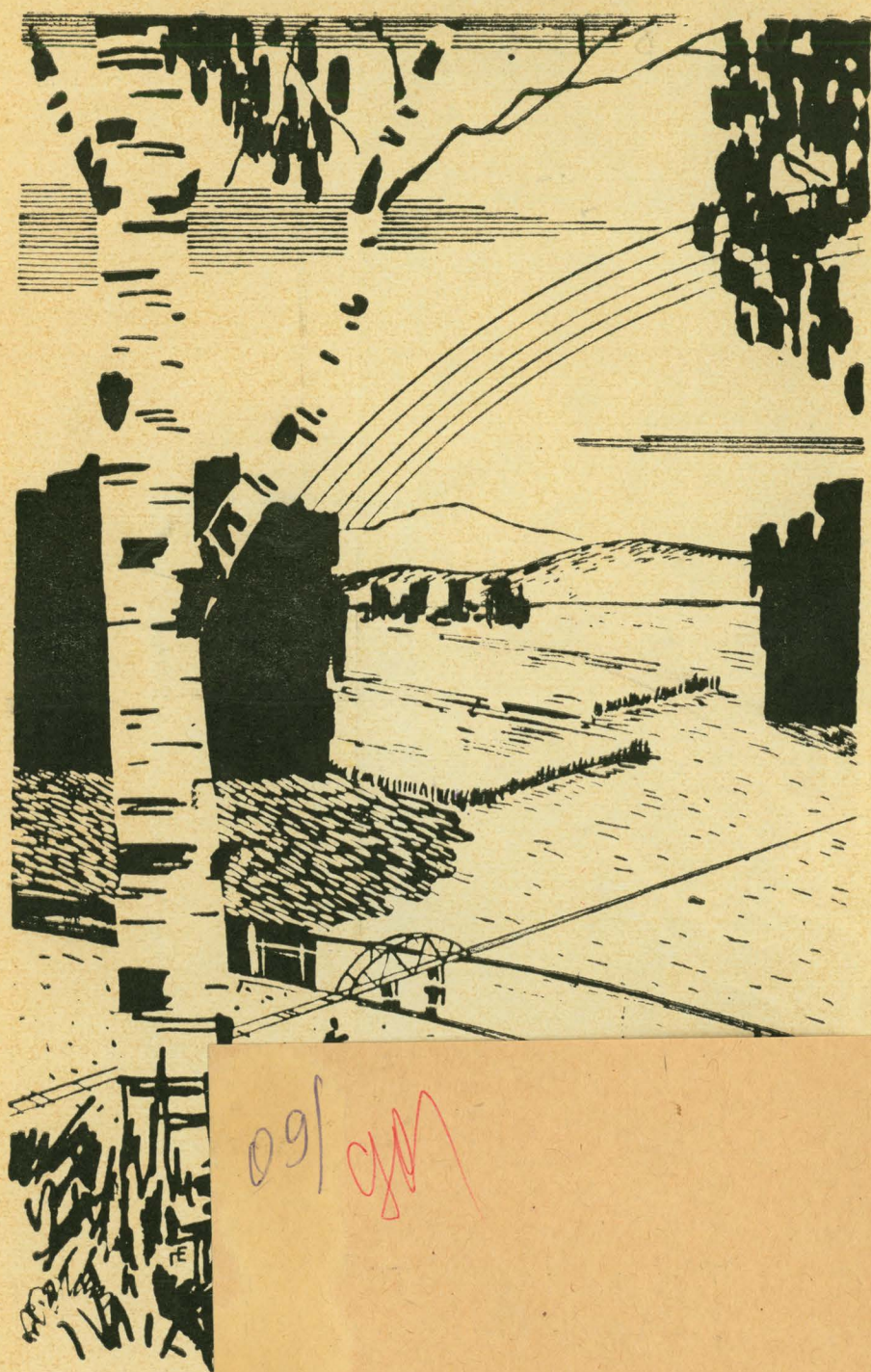
up

662 w 1

84014 do



ОГНИ
КУЗБАССА



09/08

84p7(2p-4kem)
0-38

ОГНИ НУЗБАССА

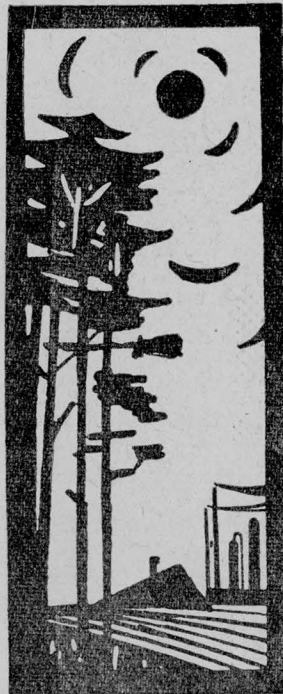
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

№ 1 (17) 1966



386149



КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

В номере:

В номере:

ПРОЗА, СТИХИ

В. БАЯНОВ. У истоков. Изба моего детства. Перед дорогой. Чьи вы? Стихи	3
П. КАРЯКИН. Атака. Рассказ	7
О. ПАВЛОВСКИЙ. Отрез шевиота. Рассказ	22
М. НЕБОГАТОВ. «Мы сообща слагаем даже строчки...». «Ты в первый раз уехала далеко...». «Есть у меня поэт любимый...». Стихи	34
И. КИСЕЛЕВ. Слово о «слове». «Что такое со мной, что такое?». Стихи	36
Г. ЮРОВ. Подкова. Подлецы. В кедраче. Стихи	37
А. ЯБРОВ. В теснине Арачева. Короткая повесть	39
А. БОРМОТОВ. Шел солдат...	59
И. АЛЕКСЕЕВ. Верность. Очерк	75

ДОКУМЕНТЫ, ПУБЛИКАЦИИ

А. МАЗЮКОВ. «АИК Кузбасс»	81
---------------------------	----

КОРОТКО О ПРОШЛОМ

Октябрь в Кузбассе	88
--------------------	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. АБРАМОВИЧ. Заметки о поэзии	90
--------------------------------	----

САТИРА И ЮМОР

ВИКТОР ГЮНТЕР. Возмутитель спокойствия	94
МАТВЕЙ СИРОТКИН. Кто — кого? (Из воспоминаний Егора Графоманского)	98

КОПЬЕТО ПЕГАСА

ВЛАДИМИР ИЗМАЙЛОВ. Дружеское и не очень	100
«Язык мой был тверд и непослушен...»	102

7-3-2

48-66-14

Немеровская областная
научная библиотека

Основной фонд

№ 071037

ЯКУТСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
им. А. С. Пушкина

Из цикла
„ЧЬИ ВЫ?“

У ИСТОКОВ

Я слушать никогда не уставал,
И при словах «А вот у нас был случай...»
Я все свои забавы забывал,
От книжки отрывался самой лучшей.
Под шум берез да птичий перещелк
Моя тропинка только намечалась.
И ничего не видел я еще,
И ничего со мною не случалось.
При желтом свете гаснущих лучей
Средь старцев я ютился на ступенях
И слушал робко рокот их речей,
Таких неторопливых и степенных.
Горели слабой памяти костры,
Чуть освещая старые усадьбы,
Походы мне неведомой поры,
И ярмарки цветастые, и свадьбы.
Мерцал нетерпеливо зорьки свет,
Когда рассказчик чинно, честь по чести,
Уж очень долго доставал кисет,
Прервав рассказ на интересном месте...
Я много слов запомнил о весне
Везде, в какой бы я простор ни вышел,
Лишь только о разлуке и войне
Ни разу слов хороших я не слышал.
Мне много слов запомнилось о зле:
Жилось тревожно, сиротно и вдова.
Я только о родной своей земле
Ни разу слова не слышал худого.

ИЗБА МОЕГО ДЕТСТВА

Изба моя, приветь меня,
Побалуи давней лаской отчей,
Погрей у своего огня,
Чем бог послал меня попотчуй.
И над землей, и над водой,
Сквозь все удачи и оплошки,
Мне самой близкою звездой
Сиял огонь в твоём окошке.
Я был, как ты, и мал, и прост,
Был светом полевым просвечен.
И прибывающий мой рост
Вон, на венцах твоих отмечен.
На крыше тот же дерн пока,
И с этой крыши многоцветной
Под легкий шорох ветерка
Свисает колокольчик летний.
Прохладным дождем омыт,
Трезвоном наполняя уши,
Он мне о юности гремит
И что ни год, то глуше, глуше,
Изба, и летом, и зимой
Твой отсвет надо мной витает.
Стою.
И рост отметить мой
Венцов сосновых не хватает.
И не могу унять теперь
Далеких лет степного звона,
И не могу я в эту дверь
Пройти без низкого поклона.

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Будет тихо и туманно
И по-летнему тепло.
Будет вновь «Аким и Анна» —
Очень странное село.
Там деревья-великаны
Подбрили к речной косе,
Там про ружья да капканы
Разговаривают все.
Там, в шестой избе от края,
При зашторенном окне
Разведенка молодая
Приготовит ужин мне.

И с печалинкой во взгляде
Скажет: — Дальше не ходи.
Впереди ночные пади,
Мост подгнивший впереди.
Знают слева, знают справа —
Все окольные места,
Что живет худая слава
Возле этого моста.
Там разбились поезжане.
Там когда-то у скалы
Острым камнем каторжане
С ног сбивали кандалы.
Зверолова с лисьим мехом,
Приискателя с конем
Мост встречал варначьим смехом,
Самодельным кистенем.
Там в зыбун глухой, холодный,
За колодины и пни
Завлекут тебя болотные
Дрожащие огни...
Я забудусь на минутку,
Замечтаюсь. И тогда
Станет сладко мне и жутко,
Будто в детские года.
Я увижу деревеньку,
Место, где в зажиме скал
Кто-то девуку,
кто-то деньги,
Кто-то голову терял.
И поверю в страхи-байки
Про трясины и леса,
Потому-что у хозяйки
Очень синие глаза...

ЧЬИ ВЫ?

Не думать ни о чем теперь бы,
Когда сто троп во все концы
И предлагают в сограх вербы
Свои сережки-леденцы.
И жаворонки без умолку
Над всей родимой стороной
Трезвонят про твою помолвку
С самой красавицей весной.
Да, как легко под гимны эти,
Пусть ты их даже заслужил,
Забывать про все на белом свете —
И кем ты был, и где ты жил,

Но у лесистой низкой гривы
Тебе, шагающему в рост,
Вдруг бросит чибис: — Чьи вы?
Чьи вы? —

Один-единственный вопрос.
Он не поет, не красноречив,
Но сразу, как у кромки рва,
Тебя тревожно остановят
Те немудрящие слова.
Они стоят тебя оставят
У голубеющих излук,
Они припомнят вдруг заставят
Поволглый за деревней луг.
И домик тот, где пел и плакал,
И речку, где сидеть любил,
В которой ты мальчонкой плавал,
Которую ты в жажду пил...
Поднявшись над раздольем нивы
И в радостный, и в горький час,
Тревожный чибис: — Чьи вы?
Чьи вы? —

Завидев, спрашивает нас...
Чтоб помнить мы не перестали
Под нашим небом иль чужим,
В каком краю мы вырастали,
Какой земле принадлежим.

А Т А К А

РАССКАЗ

Ровный низовой ветер тянул от реки, видно было, как по лугу сюда, к бровке оврага, ползут, извиваясь, языки поземки, жесткие крупинки снега, сухо шурша, осыпаются ручейками в овраг, забиваются в рукава и студено тают на кистях рук.

Локотков опустил бинокль, вытер мерзлой перчаткой заслезившиеся глаза, зажмурился, но все еще продолжал видеть рафинадно-белое поле и там, перед самой рекой, еле различимые брустверы окопов, в которых сидели стрелки. Дальше за рекой, у самого берега, темнело длинное строение под занесенной крышей. Крыша почти не различалась, сливаясь с заснеженным увалом. Должно быть, до войны там был скотный двор. Прощлой ночью оттуда били автоматчики.

Локотков снова поднял бинокль и напряженно припал к наставшим окулярам, сильно вдавливая их в глазницы.

— Ну что там, сержант? — спросил наводчик Омелянов и, отодрав сосульку от усов, глухо закашлял, багровея.

— Сидя-ят, — неопределенно протянул Локотков. — Сидят, а может, лежат, хрен ли им. У них там блиндажи...

Емченко умял глубокую яму в снегу около миномета, поднял заскорузлый воротник шинели и, усаживаясь поудобнее, сказал:

— Нам бы сейчас в землянку с печкой забраться да храпануть...

Омелянов только молча скривил потрескавшиеся губы, вздохнул.

Расчет сержанта Локоткова вторые сутки как ушел от своей роты и теперь колесил вдоль переднего края, то приближаясь к нему, то удаляясь вглубь, открывая вдруг внезапную стрельбу, стараясь вызвать на себя огонь противника.

Когда над головой начинали с шорохом сверлить воздух снаряды, миномет торопливо разбирали и, сгибаясь под его тяжестью, бежали пока хватало сил, потом падали в снег и лежали неподвижно, будто мертвые, остывая, чувствуя, как просыхают потные нательные рубашки. Сержант выбирался на место, откуда просматривался противник, и шипло командовал: «К бою!» Солдаты опять торопливо собирали миномет, Локотков определял в бинокль расстояние, делал в уме вычисления, сообщал прицел, угломер, дополнительный заряд. Стреляли. Все-то пять-шесть, от силы десять мин. Экономили.

Ездовой не мог гоняться за ними днем. Нередко подходы из тыла

просматривались немецкими наблюдателями, и мины приходилось таскать на себе в мешках и плащпалатках.

В первые сутки было легче. Капитан Бугаенко, командир роты, назначив кочующий расчет, выделил даже подносчика. Впятером было сподручнее, но вчера перед вечером их все-таки успели накрыть. Они уже побежали на другую позицию, и тут одна мина плюхнулась рядом. Последним, сгибаясь под опорной плитой, тяжело продирался по глубокому снегу снарядный Колосков. В вещмешке у него было еще пять мин. Мешок неудобно болтался сбоку.

Когда Локотков оглянулся, снарядный лежал ничком, а за ним и по сторонам все вырастали округлые кусты разрывов.

Подносчик Емченко бежал предпоследним. Он тоже увидел, что Колосков упал и не двигается. Брякая минами, Емченко сбросил с плеча тяжелый мешок, повернул обратно.

— Наза-ад! — закричал Локотков, срывая голос. Емченко услышал, вернулся к мешку, и они побежали, прижимаясь к лесу.

Отдышавшись, сержант повернулся к наводчику, тихо проговорил:

— Убило Колоскова. Близо мины ложились.

Омельянову шел пятый десяток. Бегать рысью вместе с молодыми было тяжело. С трудом переводя дыхание, он ответил:

— Однако мы все докочуем. Наши-то в щелях храпака задают... сменить бы поди пора...

— А может, живой Колосков...

— Ты что? — глянул на него сержант. — Кто будет лежать под минами?

Когда над полем улеглись разрывы и дым от них осел, припорошивая снег, Локотков выполз на опушку, пригляделся. До Колоскова метров сто пятьдесят. «Нет, пожалуй, сто шестьдесят», — подумал он. Еще раз прикинул. «Да, сто шестьдесят», — сказал себе Локотков уже твердо. Он мог так думать и решать твердо. Капитан знал, кого посылать на задание. Из оставшихся в минроты командиров расчетов сержант Локотков лучше всех определял расстояние на местности и быстрее всех делал вычисления для ведения огня. Правда, капитан считал его излишне осторожным, но, говорят, осторожность — мать безопасности, если она, конечно, не переходит через край и не граничит с трусостью. У Локоткова не граничила, иначе капитан послал бы Иванихина или Оболевича, ребят отчаянных. Но он не послал их.

Локотков не знал мыслей капитана, но понимал только, что выделили его не с бухты-барахты и отправили не к теще в гости. Дело было тяжелое, опасное и ответственное. Вообще-то, на войне неопасных дел нет. Даже интендантов в третьем эшелоне и то может секануть осколок или пуля с самолета. Хоть редко, но все же может.

Он посмотрел в бинокль. Снарядный лежал рядом. Вот протяни руку и, кажется, дотронешься до его замызанной, прожженной на спине шинели.

Сержант снял перчатку, вытер задубелой ладонью губы, хмурясь, долго засовывал бинокль в застывший немецкий футляр из эрзац-кожи.

Колоскова было жаль. Вместе с ним из запасного полка шагали по болотам, тогда Колосков и прожег шинель у костра. Сопровождающий старшина все их путал. Не потому, что они были похожи, а, видно, из-за фамилий. Один Колосков, другой Локотков. И это сходство фамилий как-то сближало их все время.

Неслышно подполз Емченко, тронул сержанта за плечо. Кивнул на поле.

— Полезу за ним.

— Погодим, — покрутил головой Локотков. — Светло. Фрицы видят.

Сумерки опускались медленно, все замерзло в бездействии, а когда посерело, так что поле окуталось мутной дымкой, сержант встал и пошел к снаряжному.

Они вытянули Колоскова, принесли опорную плиту, мешок с минами. В лесу сержант включил трофейный фонарик с синим светом, осмотрел убитого. Как ни странно, у Колоскова была лишь маленькая ранка на виске. Вокруг нее ледяной корочкой застыла кровь. На спокойном, как у спящего подростка, лице от мертвенной бледности еще четче обозначился ржавый набрызг веснушек, который не сходил у Колоскова даже зимой. Его накрыли. Но и под мерзлой плащпалаткой, топорщившейся на нем, видно было, какой Колосков коротенький и щуплый.

Чтобы найти потом место, Локотков заломал у сосны ветви и ножом сделал на стволе затесы.

Теперь вчетвером им было тяжелее.

Капитан предполагал, что ездовые не смогут обеспечивать их минами днем, и в ночь выхода расчета на кочевку те развезли ящики с боекомплектами в заранее намеченные места. Сегодня в обед расчет вынес последние три ящика. Теперь мин у них осталось всего ничего. За эти двое суток они сменили четырнадцать позиций, сделали около двухсот выстрелов. Они щупали батареи противника, наверное, и урон наносили, а главное — вводили его в заблуждение.

Немцы то тут, то там засекали русские минометы, удивлялись их количеству, нервничали, старались подавить своим огнем, не предполагая, что стреляет по ним всего один расчет, а другие уцелевшие в роте минометы молчат, и командир роты тоже молча наносит на карту обнаруженные огневые средства противника. И артиллеристы несут.

Третий стрелковый батальон, пехота которого мерзла в окопах перед рекой, переброшен был на этот участок в составе своей дивизии неделю назад, после ликвидации «Невельского выступа». В батальон входила и рота восьмидесяти двух миллиметровых минометов капитана Бугаенко, у которого после недавних тяжелых боев из шести осталось теперь только четыре не полностью укомплектованных расчета.

Батальон ночной атакой сбил немцев с высоты и ходко гнал их до реки, но на том берегу на увале у них оказались дзоты и кинжальным огнем пулеметы положили пехоту в снег. Пришлось спешно окапываться.

За голым бугром, где маячили трубы сгоревшего села, и справа, в лесной низине, у противника прятались минометные и артиллерийские батареи. Чтобы засечь их и накрыть наверняка, капитан Бугаенко, посоветовавшись с командиром батальона, послал в ночь кочующий миномет.

Локотков опять принял к биноклю, смотрел долго, до рези в глазах. От реки все бежали струи поземки, то вытягиваясь и нагоняя друг друга, то отставая. У Локоткова от этого непрерывного белого движения рябило все поле, встречный колючий ветер стужил глаза, он чувствовал, как леденеют веки и слеза набегает в уголок к носу.

В поросшей мелкоколесьем низине еще с прошлой позиции замечалось какое-то движение. Или дымок вспархивал над кустами, или сами кусты покачивались, когда немцы начинали щупать его расчет.

«Похоже, там батарея», — соображал Локотков. Он определил расстояние. До подозрительного места было не больше тысячи восьмисот метров.

Сумерки еще не успели упасть, но видимость стояла скверная. По небу сплошняком ползли низкие облака, и линзы в бинокле, отражая их, становились мутными, будто запотевшими. Локотков достал из кармана мягкий простиранный кусок фланели, протер стекла, но видимость не улучшилась. Он еще уточнил расстояние, начертил для верности пальцем число на снегу, проверил и сообщил данные.

— Осколочный, — тихо проговорил он, не оборачиваясь.

Омельянов, хмыкая в усы, не торопясь встал на правое колено, закрутил маховички прицела. С другой стороны миномета, широко расставив для упора короткие ноги, стоял заряжающий Рашад Шегабудинов. Выравнивая боковую свалку ствола, он склонял к плечу круглую голову, стараясь, чтобы дымок от прилепленной к губе сигареты не попал в глаза.

Сигарету Рашад не бросал, если даже стреляли ночью с открытой позиции и курить было опасно. Потухшая, она все время свисала у него с губы, будто приклеенная.

Емченко, заменявший теперь Колоскова, сидел на корточках у раскрытого ящика, держа в каждой руке по mine.

— Огонь! — отрывисто бросил Локотков.

Миномет глухо фукнул, и мина, свистя, унеслась в высь, протыкая мутные облака. Сержант припал к биноклю. В чернолесье вырос еще один темный куст. Локотков прибавил прицел и скомандовал:

— Три беглым!

В лесу лопнули только эти слабые взрывы, но над темными верхушками кустарников вдруг всплыло белое облако и, колыхаясь, медленно потянулось по ветру. Локотков сильнее прижал бинокль, вслушиваясь и ожидая, что вот сейчас жажнет, содрогнет землю. Но все было тихо, только эхо от разрывов, приглушенных расстоянием, катилось на зарю. Локотков давно заметил, что утром и вечером эхо почему-то всегда идет на зарю.

Он наморщил лоб, соображая, от чего же там белое облако, потом облизал шершавые губы, засмеялся, поворачиваясь к расчету.

— А знаете, ребята, там не батарея у них была... Похоже мы полевою кухню накрыли.

Омельянов, косолапо ставя носки разношенных валенок, полез к сержанту по скату оврага. Лег рядом, взял бинокль, долго подкручивал окуляры, потом радостно хмыкнул.

— Котел со щами с горячими, надо быть, разбило. Ишь, как парит! От каши так бы не парило... — вернул бинокль, кряхтя, опустил-ся к миномету.

Тут высоко над головой торопливо зашелестел снаряд, тяжело вздыхая, будто устало жаловался на свою жизнь, которая если ничью сейчас не оборвет, то уж сама-то наверняка кончится.

Локотков крикнул: «Дать туда еще парочку!» — и, перекинув через шею ремешок бинокля, съехал к расчету.

Они долго шли по дну оврага, прислушиваясь к запоздалым взрывам.

Овраг вел в тыл на взгорок. Тут у леса он был совсем мелким, как канавка. Остановились. Емченко плюхнулся в снег тяжелую плиту и вдруг громко захохотал.

— Эк заржал, — хмуро удивился Омельянов, обирая усы. — Гляди, осколок проглотил. С чего веселье?

— Так ши-те, ши на снегу, — хохотал Емченко. — Это у нас самый удачный выстрел. Фрицы-те сейчас икру мечут. Они ведь не приучены к сухоматке, как мы.

— Худая привычка, — повел плечом наводчик. Он с утра слышал покалывание под ребрами в левом боку и боялся, как бы не разыгралась старая язва.

В ночь Локотков отправил Шегабудинова в роту. Тот должен был получить указание, что делать расчету: продолжать кочевку или возвращаться? Если продолжать, то Рашад с ездовым завезет боекомплект и обязательно прихватит термос горячих щей с кашей, а удастся, то и водки. Еще Локотков просил выделить подносчика.

— Скажи, мол, вчетвером быстро менять позиции несподручно, — наказывал он, хотя и мало надеялся, что дадут человека. Народу во всех расчетах два дня назад было восемнадцать человек, а теперь вот Колосков убит, да, может, и в роте потери. Она хоть затаилась, а от немцев снаряды все равно летят.

Шегабудинов выкурил сигарету, тут же прилепил к губе другую и не прикуривая ее, неслышно растаял в темноте.

Теперь они забрались высоко. Пойма реки, разделявшая ничейную полосу, лежала под ногами. От оврага далеко вниз протянулся мелкий кустарник, а потом шел заливной луг, по которому днем мела поземка, и там на краю его, в открытых окопах, мерзла сейчас пехота.

Немцы из-за увала все время пуляли осветительными ракетами. Вообще-то странный народ эти немцы, чуть упадет темень — и начинают они шебутиться. Страх их, видно, забирает; и чем темнее становится, тем им страшнее. Так и сыплют, сыплют. А ракеты интересные. То простые, дугой летят, рассыпая разноцветные искры, то висят вроде оранжевых абажуров. Еще до войны видел Локотков абактуры у себя в городе в некоторых домах. У них в комнате абактура не было, просто горела лампочка под потолком.

Как тогда в окна домов, он смотрел сейчас на абактуры, мерцающие под облаками, и думал, что из дому давно нет письма, да и сам он не соберется написать. Пока ликвидировали Невельскую группировку, было не до писем, он все надеялся, что после тех тяжелых боев их отведут на отдых, а получилось вон как. Даже в бане помыться не довелось. В последнем письме Колька — младший братишка — прописал, что Надька Королева стала красить губы и ходить на танцы. Он удивился, что в тылу могут еще танцевать, а то, что Надька красит губы, было совсем непостижимо. «Видно, свихнулась девка», — подумал он и решил не вспоминать о Надьке. Но ночами она часто снилась ему, улыбалась незнакомым накрашенным ртом, приглашала на танцы, и он шел с ней, брал за талию и только тут, к своему конфузу, вспоминал, что танцевать-то он не успел научиться.

От вспышки нескольких висячих ракет вся пойма заливалась бледным призрачным светом. Видно было длинную стену скотного двора за рекой, узкую черту окопов на краю поля, ближние кусты, которые вроде бы оживали и бесшумно двигались, перемещались под неверным светом, а слева, куда тянулся овраг, чернел большой лес. Там был КП батальона, за ним, ближе к реке, в лесу, врылись в землю минометчики капитана Бугаенко, куда ушел сейчас Шегабудинов.

Локотков поглядел на светящиеся стрелки часов. Прошло семьдесят пять минут. Наверное, Рашад успел добраться до роты. К полночи вернется.

Емченко с Омеляновым разгребли валенками снег под разлапистой елью, нарубили веток, толсто настлав их, прикорнули, грея друг дружку спинами.

Обычно минометчики роют глубокие щели, если грунт сухой, сверху перекрывают их сучьями, палками и заваливают соломой или сеном. В такой щели спишь по-царски, стоит только надышаться. Но сейчас отрывать щель было нечем. Без лопат грузу хватало, как верблюдам.

Локотков поглядел на уснувших солдат и почувствовал непомерную тяжесть в набрякших веках. За двое суток он продремал урывками не больше двух часов. Он переборол себя. Мало ли что может случиться. Прoberутся немецкие разведчики, а они тут как сурки спят. Нет, спать ему нельзя было никак.

Он опять стал вспоминать последнее Колькино письмо, недавние навязчивые сны про Надьку, решил, что, если вернется домой и ноги у него будут целыми, обязательно научится танцевать... Где-то в тылу у немцев несколько раз глухо и басовито ударили орудия, и, чуть погодя, в лесу, там, где был КП батальона, содрогнув землю, ахнули взрывы. И так с промежутками повторялось несколько раз — далекие выстрелы, потом надсадные взрывы тяжелых снарядов. «Дальнобойная шарит», — подумал Локотков, и вдруг все стихло. В этой стеклянной тишине притаившейся ночи он уловил отдаленный и слабый перемежающий рокот. Звук тек из низины, из-за реки, будто кто-то рассерженный ворчал у немцев. Он насторожился, но ворчание оборвалось так же внезапно, как и взрывы.

Шегабудинова не было.

Локотков снова посмотрел на фосфоресцирующие стрелки. Прошло два с половиной часа. «Наверное, Рашад с ездовым сначала боекомплект развезут, а потом уже сюда, — подумал он. — Щи бы не остыли». Вспомнив о горячих щах, Локотков явственно уловил густой запах разопревшей фасоли, болезненно сморщился и, чтобы заглушить голод, закурил, низко пригибаясь, пряча спичку в ладошках. От дыма во рту стало кисло и тошно, он притушил сигарку, нацупал в кармане старый сухарь. Потер его шероховатой ладонью, счищая налипшие табачинки, и стал жевать.

Сухарь жестко хрустел на зубах и звук этот усиливался в голове, отдавался в уши громко, вроде это не зубы работали, а камнедробилка крушила булыжники в хрупкой тишине ночи. Локотков оглянулся в темень, стал надавливать на сухарь осторожнее, подсасывая его и перекачивая во рту, чтобы он отмяк. Прижимая языком подтаявший сухарь к нёбу, он вдыхал его необыкновенный ржаной дух и настороженно слушал ночь.

Ракеты из-за увала все взмывали в аспидно-непроходимое небо и, снижаясь, тряслись в мелкой лихорадке. Там, вверху, им было, наверное, вовсе зябко, холоднее, чем тут, на снегу.

Рашада не было.

Малиновым пунктиром прошли над рекой трассирующие пули и потухли в лесу. Наши окопы молчали, словно никто и не сидел на краю поля.

Локотков проглотил душистую кашицу — остатки сухаря, и стал греться, бегать вокруг миномета, приплясывать. «На танцы ходит, гуды красит... — вспомнил он строки письма. — Сюда бы того борова тылового, что танцует с тобой, поглядел бы я, как он затанцует у миномета... Стерва толсторожий...»

Почувствовав, что озноб уходит, даже между лопатками потеплело, он сердито проверил мешки. Мин оказалось четыре. «Не густо. Если не подвезут до утра, кочевать не с чем».

Он опять посмотрел на всполохи ракет, вспомнил Колоскова и

стал думать о нем. Хороший был солдат. Хоть и слабый физически, а стойкий. Никогда не ныл, все выполнял добросовестно. Тяжело ему было полуторапудовую плиту таскать... А вчера еще больше пуда мин нес да карабин, не считая мелочей разных походных. Будь он посильнее, может, и успел бы проскочить то место... Ведь все пробежали со своим грузом, а он приотстал.

Хороший был парень, мечтательный такой. Все стихи любил в газетах читать.

И один был у родителей. Рассказывал, что жили они далеко, где-то за Обдорском. Все братья, что до него были, умирали в детстве. Ближайший фельдшер за сто пятьдесят километров находился. Вот Колосков один и выжил. Самый последний!

Сейчас мать хвора и отец престарелый. Они, наверное, думают о нем, писем ждут. Надеются, что война кончится и он вернется. А он вторые сутки под сосной лежит, коротенький такой, щуплый, и снег его заметает. И не придет он никогда в далекий поселок на Оби. И хоть сегодня война кончится, хоть завтра, — для его родителей она будет продолжаться.

У Локоткова сжалось сердце. Он остро ощутил вдруг всю неизбывную тоску одиноких родителей убитого солдата. Глубину их горя, которая бездонным колодцем простерлась перед ними. Черпай из этой глубины полными ведрами — не вычерпаешь. И так до самой смерти. Локотков закусил губу, задохнулся от злости на немцев, на союзников, которые тянут со своим вторым фронтом, на войну вообще, отвернулся от ракет, чтобы не видеть их.

Сам он даже мальчишкой не мечтал стать военным. Его более романтичные товарищи делились тогда на две группы. Большая часть их хотела быть летчиками. После знаменитых перелетов Чкалова и других бредили авиацией. К тому же и форму у летчиков ввели особую, самую красивую в армии.

Другая часть его товарищей хотела быть чекистами. Это тоже было очень модно. Шпионов и разных врагов обнаружилось тогда, как грибов после теплого дождя. Их то тут, то там выхватывали...

У Локоткова мечты были более скромные. Он хотел стать лекальщиком. Поэтому в сороковом году ушел из школы, из девятого класса, подал заявление в ремесленное. Лекальщиков там не готовили, и он пошел на слесаря-сборщика. Все равно родственно. Потом можно было переквалифицироваться. Но вот не довелось поработать даже сборщиком. Пришлось минометчиком стать.

Он освоил это дело за шесть месяцев. Неплохо освоил. Миномет хоть военная, а все-таки машина. Капитан Бугаенко видел его прилежание и сообразительность, иначе Локотков не мерз бы сейчас под открытым небом, а в щели спал, в тепле.

Заворочался Омельянов, видно замерз. Углядел сержанта, спросил перехваченным со сна голосом, не приехал ли Рашадка. Поднялся, косолапо загребая ногами снег, стал топтаться у миномета. Локотков полез под ель, пока не остыло угретое наводчиками место.

Перед утром похолодало. Локотков вскочил от внутреннего озноба, запрыгал, хлопая руками по бокам, осыпая с шинели толстый иней. Казалось, и сам он под шинелью и ватником покрылся инеем и беги сейчас хоть десять верст, холод не отпустит. Омельянов с Емченко тоже топтались под елью, постукивали нога об ногу, курили в рукав, тихо переговаривались. Локотков пошевелил белыми губами, спросил про Рашада.

— И чего там думают, в роте? — пожал плечами наводчик. —

Ведь знают: у нас ни мин, ни жратвы. Табак кончается. Сунули людей на погибель и не чешутся...

Емченко высморкался в снег, вытер пальцы, раздумчиво поддерживал наводчика:

— Надо сказать, старшина у нас сапог. Нет, чтобы еще прошлой ночью наведаться да водочки прихватить по двойной порции...

Омельянов присвистнул:

— Разевай рот шире. Полезет старшина туда, где рвется. Дурной он, что ли?

Рассвет поднялся тихий. В блеклом небе, прочертив дымный след, давно погасла последняя ракета. Видно, сон одолел и самых настырных немцев. Не иначе, с Шегабудиновым что-то случилось. Локотков отправил в роту Емченко. И только тот ушел, раскатиисто бухнула пушка, сломала тишину, а через минуту стреляли несколько батарей. По хлестким звукам Локотков определил, что бьют семидесятишестимиллиметровые орудия.

Он стал искать разрывы. Гребень увала заволокло дымом, снаряды лежались у дзотов и справа, в лесной низине, где вчера была разбита полевая кухня. За увалом тоже поднимались темные смерчи. Разрывы перемежались там то сухие и частые, то редкие и глухие. Локотков понял, что в артподготовку включилась их рота и два оставшихся в батальоне полковых миномета.

Омельянов завозился, укладываясь возле Локоткова, сказал:

— Должно, сержант, атака будет. Вот накладывают в мощну ихним батареям и двинут.

Локотков не ответил.

— А пехоты-то у нас кот наплакал. И чего лезть, раз резерва нету, в обороне удержаться и то ладно, — ворчал Омельянов.

Немецкие батареи тоже отвечали. Видно было, как слева, там, где находился КП батальона, и там, откуда стреляла сейчас их рота, вертушки высоких сосен окутываются черной гарью.

— По нашим позициям садят. Емченку бы не накрыло, — сказал Локотков.

Но вскоре дым над лесом поредел, а потом и совсем рассеялся по ветру. Локотков удовлетворенно подумал, что не зря они таскались двое суток по снегам и вызывали на себя огонь.

За спиной встало солнце. Луг перед рекой засверкал, слепя глаза. Прижимаясь к лесу, прошли на штурмовку ИЛы, и тут же стрелки поднялись в атаку.

В бинокль отчетливо было видно, как маленькие темные фигурки выскакивают из окопов на ослепительно белый снег и бегут к берегу. Может быть, они кричали «ура», но сюда не доходил крик, только казалось, что пехотинцы бегут слишком медленно. «Давай, давай, давай!» — мысленно торопил их Локотков, загораюсь атакой. Он даже задвигал ногами, елозя подшитыми валенками по скату оврага, будто сам бежал сейчас к левому берегу. Первая редкая цепь, наверное, добежала до реки, потому что вдруг исчезла, — значит, солдаты уже скатились на лед, а задние все еще медленно двигались по полю. Тут Локотков ясно увидел, как один пехотинец споткнулся, упал. Потом упал второй. Он повел биноклем к лесу и там увидел несколько неподвижно вытянувшихся на снегу стрелков.

С противоположного берега били пулеметы. Их приглушенная расстоянием трескотня сливалась в общую строчку, и, казалось, строчка эта вытягивается все длиннее и длиннее и достает уже сюда на взгорок, где они вдвоем лежат в мелком овраге.

Вдруг произошло что-то непонятное. Локотков не выпускал из объективов пехотинцев, все время следил, как они удалялись от окопов, но теперь они катились обратно. Он отчетливо видел, как они бежали к окопам. Он недоуменно опустил бинокль, протер глаза, а когда вновь поднял его, то увидел на противоположном берегу танки. Их было всего четыре, маленьких и безобидных отсюда. Они тоже медленно, даже очень медленно, ползли к реке. На этом берегу между стрелками, рассыпавшимися редкими точками по белому полю, стали вырастать всплески взрывов.

— А, черт! — выругался Локотков и бросил бинокль. — Танки! — Поглядел на Омелянова. — Это они и урчали ночью.

Наводчик уже смотрел в бинокль.

— Посекут остатки, — выдохнул он.

Локотков вскочил на ноги, всмотрелся туда, где шел бой, тяжело дыша, повернулся к Омелянову.

— Что делать? И Емченки нет...

Наводчик поднялся на колени, растерянно крутнул головой.

Без приказа Локотков не мог вернуться с задания. Посыльные его не возвратились, что делается в минроте, неизвестно. Ясно было одно — атака захлебнулась. Локотков нервно оглянулся, соображая.

— Слышь, Омелянов, — обратился он к наводчику, — торчать здесь нам ни к чему. Унесем мы вдвоем миномет?

Опираясь руками на снег, Омелянов тяжело поднялся:

— Куда?

— В роту. Не загорать же тут без мин до конца войны, — сердито ответил Локотков.

Омелянов обрадовался. Ему не очень-то нравилась эта кочевая жизнь. В роте, может быть, не менее опасно, но там народ. Хоть маленькое, а все-таки подразделение.

— Утянем! Впервой что ли?

Локотков навалил ему на спину грузную опорную плиту, а сверху на нее выступающие кованые ребра пристроил мешок с последними минами. Омелянов выгнул колесом спину, крикнул и, перехватив руками гузно мешка, видно, подбадривая себя, проговорил:

— Потя-нем... Почто нет?

Локотков навьючил двуногу — лафет. Когда ремни вьюка плотно врезались в погоны, поднял ствол и, принаравливая его на толстую простроченную лямку, взвалил на плечо, а карабин перекинул на грудь.

Шли по старому следу. Берега оврага поднялись; что делалось там у реки, теперь не было видно. Они только прислушивались к звукам, наплывающим с поля, и определяли, чьи это звуки.

Нести по глубокому снегу лафет и ствол одному было тяжело, а главное, неудобно. Локотков вымотался скоро. Из-под шапки на лицо дождем струился пот, ствол жал на плечо твердой железной тяжестью. Остановились. Локотков снял шапку.

— Вон пару сколько в человеке, — кивнул на нее наводчик.

Мокрая шапка густо парила. Локотков усмехнулся:

— Как из чугуна на печке.

Так они отдыхали несколько раз, прислушиваясь к разрозненным взрывам. Овраг повернул к реке, теперь до леса надо было идти лугом по редкому кустарнику. Сбросив груз, Локотков почувствовал, как от усталости дрожат колени. В лесу к выстрелам орудий припелся резкий толстый стук пулемета. Локотков прислушался. Работал крупнокалиберный.

— Откуда там крупнокалиберный? — недоуменно повернулся он к наводчику. — Что-то не то. Ты жди, а я быстро смотаюсь, посмотрю... С минометом не проскочишь...

Перебежками, хоронясь за чахлыми кустами, Локотков добежал до леса.

У опушки, в мелком искореженном подлеске, бурели на снегу убитые лошади. По пегому кореннику он узнал их. На этих лошадях ездовой Сашка два дня назад развозил мины. Локотков обошел вокруг разбитых в щепки розвальней... Он помнил и эти кованые розвальни с ящиком впереди.

Сашка-крохобор еще замыкал его на висячий замок, хранил какие-то ценности. Сашку огневики не любили за жадность, хотя он исправно выполнял опасную и трудную службу ездового. Емченко даже грозился сбить замок с ящика и, если там окажется барахло, а не еда, то начистить ездовому паяльник. Теперь от ящика уцелела одна доска.

Значит, Шегабудинов торопился вчера к расчету и тут их накрыло снарядом. Дурным снарядом. Когда сажали из дальнобоев. Немцы, конечно, не могли заметить их ночью, тем более в лесу. Молча постояв, Локотков двинулся дальше, ориентируясь по стрельбе.

Огибая густой ельник, он нос к носу столкнулся с артиллеристом. Тот ошалело посмотрел на него, потом спросил почему-то шепотом:

— Ты куда, сержант?

Локотков вгляделся и узнал артиллериста. На прошлой неделе, на марше, он со своим расчетом помогал выкатить застрявшую в болоте пушку, и этот brave солдат балагурил тогда, кричал: «Еще раз!» — и поминал Тараса, вставляя перед ним такое слово, что все ржали, как трехгодовалые жеребцы. Теперь от brave вида у артиллериста ничего не осталось. Пола заляпанной прокопченной шинели были заткнуты за ремень, будто он собирался идти в брод, одна штанина разрезана до самого валенка, и в прорехе светили испятнанные кровью бинты. Он и карабин-то держал дулом в снег, опираясь на приклад, как на подушечку костыля.

— К роте своей гребусь, — ответил Локотков.

— Нету, нету, браток, вашей роты. Танки ее проутюжили...

Локотков отшатнулся:

— Как? Откуда они в лес попали?

Артиллерист неопределенно махнул рукой:

— Оттуда. Просекой прошли. Видно, у соседей на стыке через речку переползли.

«Вот, значит, почему и Емченко не вернулся», — подумал Локотков, все еще не веря услышанному. Артиллерист заковылял в темный ельник, оглянувшись, посоветовал:

— Ты вертайся. Слышь пулемет стучит? Это, говорят, ваши один танк пристопорили. Лапу ему подковали, он и крутится на месте, сидит из крупнокалиберного.

— Неужели всех перебили? — растерянно спросил Локотков, переступив ногами и соображая, что же ему-то теперь делать?

— Всех вроде, а может, и ушел кто... А танков мы понадырявили, — махнул рукой артиллерист и скрылся в чащобе.

Локотков стоял и все думал одно и то же: «Неужели всех? Неужели и Емченку?..» В лесу опять забухали орудия, и от реки долетела стрельба. Отсюда окопы были — рукой подать, отчетливо слышались даже мягкие и частые строчки автоматов. Он повернул обратно, заторопился к своему миномету. От грохота с деревьев посыпался снег.

Локотков побежал. В подлеске остановился, жадно всматриваясь сквозь кусты. У окопов взметались фонтаны земли, а на противоположном берегу стояли давешние танки и лупили из пушек. Теперь он видел их отчетливо простым глазом. Пальнув, танки подползали ближе к берегу, останавливались, стреляли и снова упорно лезли вперед. Локотков подумал, что танки попрут через реку и, не пригибаясь, побежал кустарником. Он не знал, что утром, когда они тащили миномет по оврагу, танки пытались перейти реку. Берега у нее были некрутыми и ширина пустяковая — на бросок гранаты, но лед оказался тонким. Один танк провалился «по ноздри», как говорили бронебойщики. Пехоту, бежавшую за танками, утром накрыли минометчики капитана Бугаенко, три оставшихся танка развернулись и ушли.

Теперь минометы молчали. Локотков не замечал знакомых разрывов, он видел только три танка и автоматчиков. Они тащили что-то длинное, не то жерди, не то доски.

Локотков бежал сейчас налегке, но взмок, видно, от внутреннего напряжения, распахнул шинель и ватник до ремня, потом, обрывая пуговицы, растегнул гимнастерку. Он помнил, осталось у них только четыре мины, и не знал, как поступит, не думал об этом. В голове стоял неотвязно один вопрос: «Неужели всех... как же так?». Ему показалось, что бежит он слишком долго, остановился, оглядываясь. Овраг виднелся впереди. Над головой тонко и нудно пропела пуля. Через несколько шагов впереди чиркнуло, словно под снегом распрямилась невидимая пружина, взметнула его бурунчиком, оставив на твердом насте узкую полосу. «Снайпер», — догадался Локотков.

Омельянов сидел у миномета, бледный, с обвисшими усами. Он повернул голову на свалившегося сверху сержанта, но не изменил позы, прижимая к груди руку. Локотков не обратил на это внимания, привалился спиной к стенке оврага, широко открытым ртом со свистом хватал воздух. Омельянов вопросительно глядел на него сбоку.

— Нашу роту, — хрипло начал Локотков и замолчал, с усилием глотнул несколько раз так, что кадык на худой шее двинулся вверх-вниз, будто проталкивал застрявшую корку, проговорил медленно:

— Говорят, нашу роту танки уничтожили... — помолчав, добавил: — Вроде бы не стреляют минометы...

— Ох ты беда, — простонал Омельянов, еще больше бледнея. — Мы-то куда теперич?

Локотков только тут заметил неумело, толсто намотанный на руку наводчика бинт. Омельянов оскалил зубы, поморщился. Оказывается, ему не усиделось одному в овраге, он добрался до кустов, хотел поглядеть бой у реки, а когда возвращался, пуля пробила кисть.

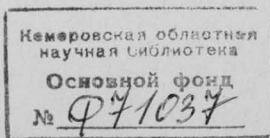
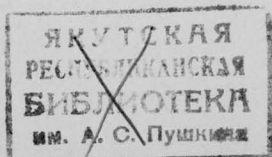
Несколько раз звонко и резко хлестнуло противотанковое ружье. Набирая в валенки снегу, Локотков полез из оврага. Танки выползли на наш берег. Видно, пули бронебойщиков не брали их в лоб. Локотков понял — танки перешли по настилу из бревен, которые тащили немцы. Он спрыгнул вниз, отвинчивая наметку. Омельянов продолжал сидеть, не понимая, глядел на командира.

— Помогай, если можешь. Фрицы реку перешли. — Наводчик не двинулся, только усы прыгали на одеревеневшем лице.

— Помогай, черт возьми! — почти плача, закричал Локотков.

Вывернул ствол, полез наверх. Омельянов, отстранив простреленную руку, пятясь, потянул двуногу. Опорную плиту вытащили вдвоем. Путаясь одной рукой в мешке, наводчик высвободил мины, пока Локотков собирал миномет.

Зимний день медленно истаявал, небо начинало сереть, снег уже



не блестел, как утром, видимость стала хуже. Локотков приказал Омелянову спуститься в овраг, стал наводить угломер в средний танк. Прикинув дальность, поставил прицел и, обежав вокруг миномета, выровнял боковую свалку. Когда мина разорвалась на поле, он понял, что поторопился. Мина легла перед танком. Танки двигались вперед, и он не стал менять прицела. Вторая мина легла за танком в гуще автоматчиков. Он тут же послал третью, но четвертую задержал на руке, как бы взвешивая и чувствуя ее приятную чугунную тяжесть.

Немцам до окопов оставалось не больше пятидесяти шагов. «Амба стрелкам». Он поднял бинокль. Из окопов вроде бы никто и не стрелял. Немцы прыгнули в них, но никакой рукопашной там не было. Он видел их головы над бруствером и понял, что стрелки, не сдержав противника, ушли к лесу по ходу сообщения. От реки двигалась новая цепь автоматчиков. Они шли не торопясь, не стреляли, и по ним никто не стрелял. Даже батареи в лесу почему-то смолкли. Локотков поглядел за реку. Из-за скотного двора показались несколько немцев и побежали в разные стороны.

Локотков посмотрел на ближнего немца, направлявшегося к реке, и увидел у него толстую катушку. Он даже присвистнул. Связист тянул провод к только что занятым окопам. Зачем-то отряхнув с шинели снег, Локотков стал наводить угломер в центр придавленной крышей стены. Наводил долго, хотел поднять с мешка мину, одиноко блестящую тусклым боком, но задержался, еще раз уточнил расстояние и прибавил прицел на два деления.

Миномет вздрогнул в последний раз, и мина, свистя, ушла ввысь. Локотков не взглянул, где она разорвется, начал отвинчивать наметку. На сердце сделалось вдруг пусто, будто и оно улетело за реку вместе с последней миной... Думать тоже не хотелось. Он опустил миномет по частям в овраг, бороздя пятками, медленно съехал сам и устало сел в снег.

— Где немцы? — прислушиваясь к наступившей тишине, спросил Омелянов. Рука у него болела, он придерживал ее на весу и укачивал, усыпляя боль.

— В окопах, — вяло отозвался Локотков, помолчал и уточнил. — В наших.

— А стрелки где? — забеспокоился наводчик. Услышав, что стрелки ушли в лес, он вскочил, усы опять запрыгали на лице: — Выходит, мы без прикрытия остались? Утекать надо...

— Не пойдут они сюда. Ведь наши из лесу не ушли. Двинут подле реки и отрезать могут.

Омелянов возмущился:

— Кто отрежет? Народу, поди, три таракана осталось. Накроют нас фрицы, как пить дать, накроют.

Локотков помолчал, сказал строго:

— Ты вот что, ефрейтор, не егози. И так тошно. Хочешь, иди в санроту. Тебя никто не держит. А я не могу. Ведь миномет одному не унести, а ты сейчас не помощник. Вон, — он кивнул на его забинтованную руку, — хоть ее донеси. Стемнеет, схожу в лес, может, кого из наших отыщу. Или стрелков дадут. Не бросать же миномет тут. И тебе надо темноты дожидаться.

Послышалась работа моторов.

— Не иначе, сюда прут, — прошептал Омелянов.

Локотков полез по скату, глянул на поле и изумленно распахнул глаза. Немцы убегали к реке. Они бежали врассыпную, беспорядочно,

группами и в одиночку. Бежали без выстрела. Впереди пехоты на предельной скорости уходили танки.

И странно, по ним опять никто не стрелял.

Он оглянулся, посмотрел на сжавшегося внизу Омелянова, закричал обрадованно:

— Вылезай сюда! Не бойсь, погляди картину. Фрицы драпмарш задают. Взяли окопы, и, видно, весь запад вышел.

Омелянов, густо сопя, выбрался наверх, осмотрелся.

— Гляди, вон по ходу сообщения наша пехтура сыплет.

Стрелки бежали не только по ходу сообщения, двигались по дугу прямо к реке. Они шли редкой цепью, но напористо. Спустились с берега, показались за рекой и, обтекая скотный двор с двух сторон, пошли на увал.

— И впрямь чудеса, — весело проговорил Омелянов. Он даже про руку забыл и перестал ее качать. Может, от радости она и не так болела.

Локотков широко улыбнулся, сказал, удивляясь:

— Откуда народу столько взялось?!

Омелянов тихо засмеялся, тряхнул головой.

— Да ведь нас, русских, чем больше жмут, тем больше соку.

Начало совсем смеркаться.

— Пойду я, сержант, однако. Пока вовсе не затемнело, — потоптался наводчик.

— Иди, — кивнул Локотков. — Наши коновалы по тебе стосковались. Закурить только дай.

— Вот выгребай остатки, а то мне несподручно, — подставил карман. — Там, в санроте, я прохарчусь.

Локотков свернул две цыгарки, сунул одну в зубы Омелянову. Покурили.

— Ну, счастливо оставаться, — Омелянов протянул левую руку, пошел было, но вернулся, неловко обхватил Локоткова за шею.

— Давай поцелуемся, Вася, на прощанье. Я уж так назову тебя. — Жестко уколол усами. — Берегись, Вася. Вот я, старый дурак, побегу бы, так не нянчил эту куклу. Боюсь испортили руку напрочь. Да, главное, правую. Я ведь в Златоусте первый плотник был. Как теперича работать буду... — Вздохнул. — Ну, не серчай, если где не так я твои команды сполнял. А я тебя не забуду. Ты вроде моего Петьки, можно сказать, молоко на губах, а командуешь сурьезно. И, главное, человек.

Локотков долго смотрел, как он бережно несет перед собой руку, сутуля спину. На сердце опять стало тоскливо, уходил последний товарищ, последний солдат его расчета. Фактически расчета уже не было. Был только он, командир, да молчаливый миномет.

В тот суматошный день третий батальон понес серьезные потери. На КП был тяжело ранен майор, командовавший им. Его заменил молоденький капитан, две недели назад назначенный начальником штаба. Когда сообщили, что батальон поддерживают только две уцелевшие батареи «полковушек», а немцы перешли реку, он приказал выкатить пушки на прямую наводку, собрал отступившую пехоту и приготовился к тяжелому бою. Из штаба полка сообщили, что высылают в помощь роту автоматчиков, приказали держаться хотя бы до утра, до подхода резерва.

Капитан смотрел в стереотрубу, ожидая, что немцы вот-вот перейдут в атаку, а обещанных автоматчиков все не было. Тут, как на грех, оборвалась связь с полком, капитан нервничал. Вдруг так же, как

сержант Локотков, он увидел нечто странное. Противник без боя оставил с таким трудом занятые позиции. Он подумал, затевается какая-то ловушка, но немцы не задержались даже у своих окопов на увале.

— Необъяснимая паника, — пожал он плечами, поворачиваясь к начальнику связи. Тот прильнул к стереотрубе.

Все прояснилось, когда из-за реки привели пленного пожилого гауптмана с остановившимся взглядом на измученном лице. Он был ранен в плечо.

Командир батальона посмотрел в наполненные страхом глаза немца, спросил через переводчика, чего он так боится.

— Скажи, мы не расстреливаем пленных, тем более раненых.

Переводчик залопотал, но гауптман перебил его и сказал на плохом, но все же на русском языке:

— Я не боюсь расстрел. Дело не в том... Я пережил сегодня смерть, — немец дернул головой, на губах у него показалась пена. Ему дали водки. Сделав несколько больших глотков, он заговорил уже по-немецки. Переводчик еле поспевал за ним.

— Он говорит, у них был кошмар. Oberst ставил задачу офицерам. Все лежали над картой... — Переводчик остановился, видимо, не понимая нервную скороговорку немца, переспросил. Повернувшись к капитану, продолжал: — Лежали, надо понимать, голова к голове, в общем, все в куче, и прямо в карту попала мина. Говорит, шальная мина, случайная, потому что больше ни одной не взорвалось поблизости. Все погибли. Oberst, командир егерского батальона, командиры рот... Солдаты, узнав, что почти все офицеры убиты, бежали...

— Чего-то он плетет, — нахмурился капитан. — Минроту ведь утром еще..., те танки с фланга... Может снарядом?

Пленный утверждал: «Мина».

— Спроси, где это было?

Пленный стал объяснять и опять задергал головой. Ему еще дали водки. Вернув фляжку адъютанту, ответил по-русски:

— За ферма. Это проклятый места. — И просил не водить его туда, иначе он с ума сойдет. В глазах его опять заметался ужас. Капитан спросил, почему он не ушел со своими? Переводчик, улыбаясь, сказал:

— Говорит, его спас бог. Он лежал за oberstem, и тот прикрыл его от смерти. Только один осколок попал в плечо, но он был парализован морально, уйти не мог, а солдаты, которых он просил взять его с собой, бросили его, свиньи.

Капитан с офицерами штаба в сумерках подошел к скотному двору. Они увидели действительно редкую картину. За длинной стеной на разостланной палатке головами друг к другу лежали семь офицеров. Между ними валялись обрывки карты, в середине темнела мелкая подпалина. Покореженный стабилизатор от разорвавшейся мины лежал тут же. Застывшие фигуры убитых напоминали спицы развалившегося колеса, вытянувшиеся лучами от центра. Взрывом в упор им раздробило головы и посеколо плечи. В сумеречной тишине ветер шебаршил обрывками карты.

— Да-а, — задумчиво протянул капитан.

— А кто стрельнул? — удивленно оглядываясь, словно он мог увидеть этого человека, спросил адъютант. — Возможно, от соседей прилетела?

Капитан пожал плечами.

Тяжело пробираясь по глубокому снегу через лес, Локотков накнулся на батарею полковых орудий. Остановился, с хрипом дыша.

токачиваясь от голода и усталости... Артиллеристы долбили кирками мерзлую землю. Отсюда, из редколесья, они могли держать под прямой наводкой весь оставленный противником берег и бить через увал по закрытым позициям.

Ему дали котелок гороховой каши с кониной. Обжигая рот, он съел все без остатка, чисто выскреб котелок и почувствовал, как его измотанное, уставшее тело наливается теплой сытой истомой. Стал сворачивать сигарку и уснул.

Проснулся в полночь. Вызвездило. На батарее стояла тишина. Локотков размял затекшие ноги, подтянул для тепла ту же ремень, решил осмотреть позицию своей роты. Лес таинственно молчал. Локотков задира л голову, смотрел на голубые звезды, мерцавшие из мохнатых веток, ориентировался. Позиция минометчиков была где-то рядом, на поляне у просеки.

Остановил его резкий окрик. Подошли трое. Один, высокий, в полубухе с офицерской португеей, ослепил его вспышкой фонарика, спросил, кто он и куда идет? Услышав ответ, высокий опять на секунду прорезал темноту лучом.

— Ты воскрес, чи шо? Минометчики погибли. Один остався, та и вон в санбате.

Локотков понял — ему не верят, даже подозревают в чем-то, сбиваясь, принялся объяснять. Высокий перебил.

— Ладно. Байки слушать некогда. Фамилия? — помолчав,скомандовал выходить на дорогу. Когда выбра ли на умятую колесами и сотнями ног колею, высокий махнул рукой: — Жми прямо. Туда резерв пошел. Догоняй его.

Локотков сказал о миномете, оставшемся в овраге, и о Колоскове, которого не успели похоронить. Высокий раздраженно усмехнулся, проговорил, поворачиваясь к автоматчикам, сопровождавшим его:

— Чудной. Миномет! Похоронить! — нагнувшись к Локоткову,дохнул жаром на лицо: — Да знаешь ты, сколько тут в лесу осталось сегодня? А ты шатаешься под луной, як приведение. Еще сержант. Там каждый солдат на счету. Вперед!

Локотков козырнул, пошел.

Миновав пустынное поле, по которому днем взад-вперед бегала наша и немецкая пехота, танковым следом он спустился на реку. За-шагал по расхристанному настилу, стараясь не попасть валенками в выступившую между бревен воду. В стороне под бугром мрачно тем-нел скотный двор. Локотков мельком глянул на него, подумал, какой он большой вблизи, и пошел дальше.

Впереди взметнулись гирлянды ракет, рассыпались и повисли разноцветными фонариками, а сбоку побежала к ним трасса светя-щихся пуль, потом донеслась грубая пулеметная строчка. Вдоль реки потянуло ветром. Локотков поднял воротник шинели.

Звезды погасли. Небо опять стало затягиваться наволочью. И под этим низким небом, на зарницы ракет, на грубый стук пулеметов шел русский солдат с косо пришитыми суконными лычками на погонах. Он тяжело дышал, думал о друзьях, оставшихся там, на лесной поля-не, и торопился навстречу своей военной судьбе.

ОТРЕЗ ШЕВИОТА

РАССКАЗ

1 Черная, с неровными проплешинами от облупившейся краски доска около самого моста через овражек вкопана. Никак ее не минуешь — хоть на работу топаешь, хоть с работы идешь. На доске разные объявления и приказы висят.

— Вот так-то, брат.

Костя читавший приказ, не имевший по сути дела никакого к нему отношения, обернулся:

— Чего?

— Серега-то — старший мастер теперь, а?

— Ну и что!

— Да ничего. На прорабское место метит. Недалеко осталось.

— Мало ли кто куда метит.

— Э, не говори. Серега достигнет — малый не промах. Это ты как десятником сидишь, так и сидеть будешь, хоть противу Сереги и в техникуме учился. Не на том тесте замешан.

— А на каком?

— Дрожжей, видать, положить забыли. Не подходит.

— Ладно, отстань.

Костя идет через мостик. Шаткий такой мостик, из трех нешироких досок сколоченный. Гнется, пружинит под ногами.

«Везет Сереге, — думает Костя. — План на его участке уж который месяц не выполняется, организатор из него не ахти какой, а как специалист он и вовсе никудышный — даже с нивелиром обращаться не умеет, в чертежах, как в молитве, разбирается, а вот поди ж ты... А может, это и не везение вовсе, а что-то другое? Что же? Что?»

Ответом ли на вопрос или просто так, Серегиным именем вызванная, прошлогодняя история вспомнилась.

Новенький, непривычный для этих мест «студебеккер» торопливо уминал склизкие ухабы, оставляя на них четкий резной след. Спрессованные комья липкого чернозема упруго и глухо шмякались позади на дорогу. Сырой ветер лез под выдающую виды Костину ушанку, холодил затылок, забирался окольными путями под фуфайку, саднил спину. Правая рука, вцепившаяся в мокрый борт, коченела — не спасали одолженные шофером полустертые кожаные рукавицы с широкими отворотами. Левое, не зажившее еще по-настоящему после ранения плечо тупо ныло.

Но что там ухабы, холод и нескончаемая тряская дорога, когда он, Костя, живой и, можно сказать, вполне здоровый парень едет сейчас с мирным, не по времени еще мирным поручением — вербовать по глухим деревням людей на стройку, на стройку, где началась вторая часть его биографии, если первой считать полтора фронтовых года.

А плечо — пустяк. Он здорово легко отделался — врач сказал, что через годик он камни ворочать сможет. А вот товарищи его еще воюют, спят в промерзлых, подтаявших по весне окопах и не знают, увидят ли неразъезженную машинами и танками дорогу, не тронутую снарядами землю, вдохнут ли пахнущий изморосью и тишиной ростепельный ветер.

Правда, по всему, конца ждать осталось недолго — об этом не только сводки Совинформбюро говорят, но и реально ощутимый «студебеккер», полученный на днях управлением строительства, и сама стройка. И все-таки... Никто из тех, что остался там, на передовой, не может поручиться, что вернется живым и невредимым. А для него, Кости, война, можно сказать, уже кончилась, и думает он сейчас даже не о толстом, не нюхавшем пороху начальнике отдела кадров Горлушине, который, конечно, мог бы хоть на часок предложить ему погреться в теплой кабине, и не о том, как бы поскорее добраться до первой деревеньки, обогреться, выпить горячего чаю пусть даже без сахара, а... о темно-синем, с тонкими диагональными полосками, шевииотом костюме.

Два дня тому его и Серегу Воронова вызвал к себе заместитель начальника строительства, объяснил обстановку — рабочих не хватает, деньги не осваиваются, план под угрозой срыва, — и пообещал каждому, кто завербует не менее двадцати человек, выдать талон на получение отреза шевииота.

Серега потирал руки, будто талон этот уже лежит у него в кармане:

— Считай, тысенки по три зарабатываем.

— Как это?

— Тюха-матюха!.. По талону отрез сколько стоит? Сотни три-четыре. А на толкаче? С ходу три с половиной куса. Дошло? Не станешь же ты из него костюм шить.

Костя тогда промолчал, ничего не ответил Сереге, а про себя решил как раз-таки сшить костюм. Чтоб плечи у пиджака были широкие, с краев приподнятые, брюки — матросские, клеш, не меньше как тридцать два сантиметра в раструбе.

Косте мерещилось, как он, небрежно засунув правую руку в карман брюк, насвистывая «Синенький, скромный платочек...», неторопливо идет по аллее городского парка. На кармашек пиджака нашита желтая полоска — знак тяжелого ранения, рядом с ней поблескивает медаль «За отвагу», на правом лацкане — гвардейский значок. Прохожие уступают дорогу, оборачиваются вслед. Стайки сидящих на скамейках девчат не сводят с него завороченных, ласкающих взглядов, гадают про себя «подойдет — не подойдет, заговорит — не заговорит». Только он ни к кому подходить не станет и заговаривать тоже. Он даже не посмотрит в их сторону, потому что идет он не куда-нибудь, а к...

Машину крепко встряхивает. Рука неловко подвертывается, и сразу же начинает ныть плечо. Ветер нахально заставляет дрожать и ежиться.

Ни разу в жизни Костя не носил еще нового костюма — все со

старшего братишки да с отцовского плеча перешитое. Да и ни к чему тогда новое было. До девчат еще нос не дорос, а с ребятней играть — старое-то удобнее, не стережешься, что порвешь или вымажешь ненароком.

Сейчас дело другое. Сейчас приглянулась ему девчонка, в конструкторском бюро работает, чертежницей. Как встретится с ней невзначай, так не знает, куда себя деть. Почему бы? Потому, наверное, что до сих пор словом с ней не перекинулся, а сказать так много хотелось... А как заговоришь? В кино бы пригласить, или на танцы, или даже просто по парку прогуляться. Да разве она с ним с таким пойдет прогуливаться?

Кто по чистой из госпиталя уходил, тому с иголки все давали. Костя же не по чистой вышел, а с отсрочкой на шесть месяцев. Через шесть месяцев комиссию надо пройти, и, коль комиссия годным к строевой признает и снова в действующую армию направит, там ему опять новое обмундирование выдадут. Оставит комиссия на инвалидности — ходи в чем есть. А есть у Кости немного: выцветшие солдатские галифе с квадратными заплатами на коленях, тяжелые, с толстой подошвой американские ботинки да гимнастерка «БУ» — бывшая, значит, в употреблении — с заштопанной на левом нагрудном кармане дырочкой. Из всего лишь ремень новый — широкий, отличающийся свежим лаком. Только при таком ремне все остальное еще более непривлекательный вид приобретало. Вот и пригласи тут девчонку по парку пройтись.

Но теперь-то уж он разобьется, а тот отрез шевиота добудет и с первой же полочки шить в мастерскую отдаст. Привыкать надо к мирной жизни.

2 Вечеру «студебеккер» добрался до деревни, нащупал фарами добротную избу с поржавевшим петухом на крыше и приткнулся боком к редкому плетню.

Сонная хозяйка избы не очень-то приветливо встретила незнатных гостей.

— Как звать-величать хозяйшку? — весело спросил шофер.

— Ксюхой, — буркнула та в ответ.

— Ксения, значит. А по отчеству?

— Ладно уж смеяться-то.

Ксюха, женщина лет тридцати — тридцати пяти, неспешно хлопотала, устраивая постояльцев на ночлег. Шоферу и Косте постелила на полу, Горлушину уступила кровать, сама перебралась на печь.

Горлушин спросил молока. Коровы у Ксюхи, как оказалось, давно не было — на бойню свела в счет мясопоставки. И вообще в селе только четыре семьи коров еще держат.

— Может, капустки принести?

Костя не стал дожидаться, пока закончатся переговоры с хозяйкой. Он снял ботинки, положил под голову фуфайку, укрылся с головой стареньким чуть греющим одеялом и тут же заснул.

Проснувшись от ослепительного, больно режущего глаза света. Это решивший побриться шофер навел на него карманным зеркальцем солнечный зайчик.

Горлушин, одетый, успевший даже почистить хромовые скрипучие сапоги, не глядя на Костю, бросил:

— Войну проспипшь, солдат.

Вскочить бы сейчас, выхватить у шофера банку с мыльной во-

дой, с плавающими поверху щетинками, плескаться в ухмыляющуюся физиономию. Горазд учить да издёвничать. Сам-то, небось, давно всто войну проспал, не знает, как от повешенной фашистами осветительной ракеты просыпаешься. Но начальство есть начальство. С ним пререкаться не положено. Что-что, а уж это солдату доподлинно известно.

На пути к сельсовету Горлушин в который раз натаскивал Костю:

— Главное, упирай на общественно-политическое значение стройки. На Западе война еще идет, последние силы фронту отдаем, но и о мирной жизни, о будущем нашем не забываем — развернули уже, мол, мирное строительство. Это понимать надо. Машины нам дали, деньги. И каждый, кто не против Советской власти, честью должен посчитать на нашей стройке потрудиться.

— А разве есть против? — вырвалось у Кости.

Горлушин остановился, словно зацепился полой дубленого полушубка за торчащий из плетня обломок обвязки, уставился на Костину переносицу:

— Ты член партии?

— Н-нет еще.

— То и видно. Политически не подкован, в жизни не разбираешься. Враги наши кругом есть. Их только уметь учуять надо. Если бы не было против, давно бы мы войну выиграли, а не растянули ее на четвертый год. Мы немало сил оставляли для борьбы с внутренними врагами, а также с несознательными, шаткими элементами, которые в любую минуту могли стать настоящими врагами. И ты здесь демагогией не занимайся, ставь вопрос прямо: или ты за Советскую власть и обязан помочь стройке, или ты против Советской власти и тогда... в общем, думаю, ясно...

Косте далеко не все было ясно, но спрашивать больше Горлушина ни о чем не хотелось. Он машинально проверил, все ли пуговицы застегнуты на фуфайке и первым сделал шаг в сторону сельсовета.

Болезненный, с желтоватым лицом мужичок, оказавшийся самим председателем сельсовета, при виде вошедшего Горлушина выскочил из-за колченогого, донельзя искляксенного стола, обеими руками подержался за небрежно протянутую Горлушиным ладонь и застыл, как бы ожидая каких-то особых распоряжений.

Костя чуть было не рассмеялся. Он прекрасно знал, что председатель Горлушина первый раз в жизни видит и не знает еще, кто он такой, Горлушин, зачем приехал, что и с кого спрашивать станет. Его, Костю, председатель будто и не приметил, а вот перед человеком самодовольным, вошедшим в сельсовет, как в кабинет собственный, заюлил. А чего юлить, спрашивается? «До чего же, — подумалось, — в этого человека преклонение вьелось! Сидел бы за столом, как положено, ну, привстал бы в крайнем случае. Так нет, словно на гвоздь напоролся. А из-за чего все? Рожа, видишь ли, у Горлушина сытая, для здешних мест, как и американский грузовик, непривычная. И одежда городская, начальственная. Вроде как бы барина мужик увидел. Как же тут усядишь!»

А Горлушин сел на председательское место и, как средней руки провинциальный артист, единожды и навсегда тщательно вызубривший свою роль, повторил председателю то, что недавно говорил Косте.

Провинившимся школьником стоял председатель перед Горлушиным, кивал ответно, соглашаясь со всем. А когда замолк Горлушин, подобострастно спросил:

— Сейчас баб, товарищ хороший, собирать или как?

— Завтра соберешь. Я тебе вот нашего представителя оставлю.

При слове «представитель» председатель поспешно повернулся к Косте, улыбнулся виновато, как бы извиняясь за оплошность.

— Представишь его собранию, как положено, — продолжал Горлушин, — чтоб все на уровне было. Да не вздумай отговаривать, если кто выразит желание на стройке работать. За такие штуки знаешь?.. — Горлушин побарабанил пальцем по столу. — То-то... Потом до соседнего села транспорт организуешь. И совсем хорошо будет, если сам доставишь нашего представителя и мои слова передашь, чтоб и дальше там транспорт организовали и насчет собраний. Ясно?

— Что в наших возможностях — все исполним.

— В возможностях! — передразнил председателя Горлушин. — На фронте солдат не спрашивают, что в их возможностях. Там сверх всяких возможностей фашистов лупят. Ясно? А тут, считай, тоже фронт своего рода, политического характера. Ясно?

— Сделаем, товарищ начальник...

— Так-то лучше, — Горлушин встал, покровительственно похлопал председателя по плечу.

Костя сейчас только смекнул, почему его не отправили одного. В дороге обида брала, а сейчас понятным все стало. Разве стал бы его, Костю, председатель сельсовета выслушивать так, как он Горлушина слушал? Да ни в жизнь. Скорее, отмахнулся бы — не лезь, мол, со своей стройкой, у нас и без того забот хватает, не расхлебашь. А о лошади и заикнуться не дал бы, это точно. Пешочком, дескать, дотопаешь, коли к солдатской жизни приучен. И забыть тогда ему о шевитовом костюме, как пить дать.

В душе Костя позавидовал даже Горлушину. Хоть во что его, Костю, не наряди, какую одежду-разодежду ни надень, а вот так, как Горлушин, уметь дать понять, что он всем начальникам начальник, не сможет. Не той затравки, видать. Правда, на фронте такому, как Горлушин, быстренько бы всю спесь сбили, — солдаты это умеют. Так устроят, что и сам не узнаешь, как другим человеком станешь. А здесь, в тылу, не то. Здесь спесь-то роль играет, видно, немалую.

Председатель проводил Горлушина до машины, и, когда «студбеккер» развернулся и умчал «высокое начальство», почесал затылок:

— Видать, ба-альшая шишка!

Потом натянул кепчонку, повернулся к Косте, сказал доверительно:

— Я, по правде, подумал — опять насчет хлеба. В прошлый месяц такой же вот приезжал, с бумагой. Расшумелся, раскричался, обжирается, мол, а там люди за вас гибнут, жизни не жалеют... Будто мы сами не знаем того. Мы и хлебосдачу в срок выполнили, и дополнительно фронту два раза сдавали — все под метелочку вымели, на семена только оставили да на семью по два-три пуда. Бабы голосят — не выдюжим до лета. А куда деться? Голоси не голоси, солдатам хлебушко-то нужнее. Ихние же мужики головы складывают. Пожались-пожались и остатнее сдали. На картошке теперича сидим... Да нам-то не страшно, не помрем авось. А чего испужался я, так того, что не поверят, что все сдали. А я ведь самолично каждый закроем в селе облазил, в сундуки аж заглядывал. Нет более в селе хлебушка... А баб мы тебе соберем. И лошадку дадим. На постой-то определился?

— Определился, — сказал Костя.

— Ну, до завтра, значит.

3 Утром следующего дня Костю разбудил колоток в окно и простудный бабий голос:

— Ксюха, эй! Собирайся до сельсовету...

— Чего там? — откликнулась от печки Костина хозяйка, поддевая расхлябавшимся ухватом чугунок с картошкой.

— Тебе-то не знаты!? Аль не о том ночью с постояльцем советовалась? — за окном послышался неискренний отдаляющийся смех.

Чугунок качнулся, плесканул на пол. Тотчас до Кости донесся густой тошнотный запах картофельного отвара.

Костя поднялся. Ксюха кинула быстрый взгляд в его сторону, завозилаась ухватом в пустой печке.

— Проспал, кажется, — сказал Костя.

— Успеете. Раньше полдня бабы не сойдутся.

— Слабовата, выходит, дисциплинка?

— Да уж как есть, — Ксюха слила отвар в ведро, поставила чугунок на стол: — Кушайте.

Как и вчера перед ужином, Костя достал початую буханку, — хлеб по карточке забрал на неделю вперед, — отрезал ломоть себе и такой же хозяйке. Только вчера Ксюха так и не притронулась к его хлебу, а сегодня не удержалась, откусила.

— Богато городские живут.

Горячая картошка с крупной солью и подсохшим хлебом была на удивление вкусна. Костя ел, обжигаясь, словно его подгонял кто. Ксюха неторопливо снимала кожуру, аккуратно макала картофель в соль, откусывала кусочек хлеба, потом картошку и со вкусом жевала.

— Скоро, что ль, конец-то войне придет?

— Скоро, — уверенно сказал Костя. — Месяц, от силы два.

— Вы-то, что ль, тоже на фронте были?

— Пришлось.

— По малолетству отпустили, аль как?

— Мне за девятнадцать перевалило. У нас и помоложе были в роте. А меня по ранению. Разрывная пуля.

— Ох, страсть какая!

Помолчали.

— Андрюху Сивцова, случаем, встречать не приходилось?

— Муж ваш?

— Муж. Под рождество получила весточку, а более, вот уж сколько прошло, ничего нету... Знать, не встречали?

— Нет, не встречал. А насчет писем не беспокойтесь. Некогда сейчас письма писать, да и почта у нас работает, сами знаете, как, — Костя доел хлеб и стал собираться. — Вы-то на собрание придете?

— Приду ужо. Приберусь вот...

4 На улице витал арбузный запах тающего снега. Костя скатал снежок, запустил в плетень напротив. Расплющившись, снежок влип в темное дерево, и плетень повеселел будто бы, покрасивился. Костя нагнулся было за следующей порцией влажного, податливого снега, но вовремя вспомнил, что он не мальчишка, а недавний фронтовик и нынешний полномочный представитель крупного строительства. Вытер о фуфайку ладони, зашагал к сельсовету.

Ксюха верно сказала — бабы собрались только к двенадцати. Они молча и недоверчиво, словно ожидая какого-то подвоха, смотрели на

Костю и председателя сельсовета, сидящих за колченогим столом. Перед Костей лежала стопка договорных бланков и ученическая ручка со стертым чертежным пером. На эту-то стопку и поглядывали бабы, гадая про себя, что таится в тех бумагах — беда или радость.

Когда комната набилась так, что опоздавшим пришлось остаться стоять на крыльце, председатель по всем правилам открыл собрание, предложив избрать в почетный президиум товарища Сталина, и рабочий — себя и Костю. Потом опять-таки по всем правилам поставил слово Косте.

Костя одернул гимнастерку, поправил ремень, сказал «товарищи!» и вдруг ощутил какую-то непривычную пустоту в голове. На него смотрели десятки настороженных глаз, десятки осунувшихся изможденных лиц, вопрошающие взгляды словно прощупывали его, пытаясь раньше, чем он произнесет следующее слово, определить, что ничего страшного для них не последует.

Чей-то взгляд особенно беспокоил Костю. Он чуток повернул голову и встретился глазами с Ксюхой. «Ну что ж ты, парень? — говорили ее глаза. — На фронте, небось, не тушевался так. Валяй, выкладывай. Мы ко всякому привычные».

Ксюха удивляла Костю. Ни вчера, ни сегодня утром она не поинтересовалась целью его приезда в село. А еще анекдоты о бабьем любопытстве рассказывают. И Костя не собранию, а ей, Ксюхе, стал говорить о том, что стройке очень нужны рабочие, что до конца года надо вынуть столько-то десятков тысяч кубометров грунта, уложить столько-то тысяч кубометров бетона. Не понимая, откуда у него вдруг проявился ораторский пыл, Костя говорил о значении стройки для области, для всей страны, о том, что восстановление разрушенного фашистами народного хозяйства не терпит никаких отлагательств. В общем, говорил, как советовал Горлушин, только своими, конечно, словами. Об одном не сказал лишь — о том, что кто не желает стройке помочь, тот, значит, пособник врага и противник Советской власти. Не мог он сказать этого. Не те люди перед ним были, которым можно сказать такое.

Костя видел, что Ксюха и бабы слушают его внимательно, стараясь не пропустить ни словечка. И он не сомневался уже, что отбою от желающих ехать на стройку не будет.

— Вот это наши договора. — Костя положил ладонь на лежащие перед ним бланки. — Можно на год заключить, можно и на два. Желающих прошу подходить по одному, — сел и добавил: — Не очень спешите, ноги отдавите.

Шутка, однако, не возымела действия. Никто даже не улыбнулся.

— Вопросы к товарищу представителю будут? — устало, будто не Костя, а он держал перед собранием столь ответственную речь, спросил председатель.

Женщины долго молчали.

— А насчет мужиков там как? — выплеснулось вдруг из угла.

Костя покраснел.

— Прошу по существу, — сердито заметил председатель.

— А мы тем самым существом и интересуемся. Измучились, на одного тебя да на деда Архипа глядячи.

Собрание повеселело, зашушукалось. Молодая востроносая дивчина выглянула из-за широкой спины подруги:

— А что делать-то на той стройке?

Наконец-то по-серьезному подошли к делу.

— Работа, прямо скажу, трудная, не женская...

— А мы уж и позабыли, когда были женщинами-то, — снова плескалось из угла. — Погляжу инок на себя и не знаю — баба ли, мужик ли... Иди-ка ты лучше, парень, к нам в колхоз, помоги разобратся...

Даже председатель сельсовета не сдержал улыбки, искоса глянув на зардевшегося, готового сквозь землю провалиться Костю.

«Если вот на такие шуточки собрание перекинется, — думал в тот момент Костя, — пропадай отрез». Он легонько постучал по столу:

— Я, товарищи женщины, ваши трудности понимаю...

Эх, не то, видно, сказать надо было. Не успел договорить, как не только из угла, но и с первых рядов посыпалось:

— А коль понимаешь, чего ж раздумываешь? Оставайся — и вся недолга.

— Враз и проголосуем за принятие.

— И договору не надо.

— Не, договор надобно, чтоб не сбежал наутро.

Кто знает, чем бы все это кончилось, если б не Ксюха. Она резко встала, подалась вперед:

— Ну чего, чего рассупонились? Человек с фронту, ранетый. Теперь вот по мирному делу приехал, добром с вами говорит. А вы как с цепи спущенные... И ты тож бабой не сиди, — ни с того, ни с сего накинута Ксюха на председателя, — и без тебя баб хватает. Веди собрание, как полагается...

Поутихли бабы чуток. До Костиного уха донесся неясный полусшепот:

— За постояльца-то... Видать, разговелась... уже принесет вот...

— Хи-хи... Скажешь!..

— ...не прочь бы.

— Тише ты! И впрямь подумает бог вещь что.

И до Кости дошло вдруг, что не со зла это бабы, не в обиду ему, что в озорстве этом, в шутках незлых горе горькое скрашивается, смешом наружу вырывается. И не в том это горе бабье, что постель согреть некому, а в том, что ждать устали. Не работать, а ждать. Ждать весточки, ждать похоронной, ждать урожая, ждать, когда заберут этот урожай... Ждать, ждать, ждать...

— О заработке спрашивают, — локтем ткнул Костю председатель. — Сколько заработать на стройке можно?

Какой там на стройке заработок! Шоферы, машинисты, те еще куда ни шло. А те, кто носилки таскает...

— Сейчас у нас земляные, в основном, работы. Так что триста-четыреста рублей при выполнении нормы. А вот когда бетонные пойдут...

Но женщин, видимо, не интересовало, что будет, когда пойдут бетонные работы. Зашумели враз, запереговаривались. Едва-едва председателю удалось восстановить сомнительную тишину.

«Конечно, — думал Костя, — триста рублей не деньги. За поношенные ботинки на толкучке больше просят. Только на земляных при всем желании больше не вытянешь. Не какой-нибудь дядя Федя наряды выписывает и замеры производит — он сам. Знает».

Потом о спецовке спрашивали, об общежитии и еще о всяких разных мелочах. И каждый Костин ответ встречался либо неодобрительным гулом, либо просто короткими смешками. А куда ему деться, если ни о какой спецовке не могло быть и речи, общежитие только строить собирались, пока же размещали рабочих по углам, по чужим квартирам.

Потом какая-то баба притворно вскрикнула:

— Ой, батюшки, сынишка-то один в доме! Кабы беды какой не натворил! — и выбралась из избы. За ней и другие поспешили. У каждой нашлись вдруг неотложные дела.

— Я все, что мог, сделал, — извинительно, словно считая себя виноватым в чем-то, сказал председатель сельсовета. — Так что, товарищ представитель, обиды на меня не держите. А лошаденку я с утра завтра дам. Сегодня-то поздновато уж ехать — не успею обернуться.

Завтра, так завтра. Попросил только позвонить в соседнюю деревню, предупредить, чтоб к полдню собрание собрали, не хотелось лишний день зря терять.

Ушедшая с собрания вместе с бабами Ксюха, встретила Костю молчаливой усмешкой. Пока он стаскивал с себя фуфайку, прятал в чемоданчик чистые бланки договоров, Ксюха возилась у печи. А когда Костя сел на застланную стертым домотканым ковром лавку и вздохнул тяжело, не оборачиваясь, сказала:

— Рази ж так, парень, баб уговаривают? Бабе поболе посулить нужно. Они на посулы падки.

— Что ж я, врать должен был?

— Врать не врать, а и всей правды не говорить.

— Как же не говорить, если спрашивают?

— Мало ль что спрашивают! Мы вот каждый год по весне у председателя спрашиваем, сколько на трудовень получим. Ну, наобещает три короба с верхом, бабы и рады стараться — жмут, надрываются. А к расчету — шиш. Натуроплата МТС, фонд обороны, поставка, потом еще дополнительная — вот и пусто в амбаре. На будущий год сызнова спрашиваем. И сызнова обещает председатель. И к расчету сызнова шиш заместо хлебушка, — Ксюха говорила спокойно, словно о постороннем, ее не касающемся.

— И хорошо это?

— Хорошо не хорошо, а скажи председатель всю правду заранее, так ни одна баба в поле не вышла бы.

— А если для фронта?

— А как думаешь, дуры мы? Не понимаем нешто? Коли б не для фронта, стали бы мы с утра до ночи мозоли натирать?.. А все ж и надежду иметь надо. Без надежды никак нельзя человеку прожить, будь он хоть, бабой, хоть мужиком.

Это верно. Человек обязательно должен в будущее верить, иначе для чего и жить тогда. Если б они в победу не верили, разве погна-ли бы фрицев! Но ведь любую веру и надежду, как Ксюха говорит, и убить можно, вытравить. Неужели этого Ксюха не понимает?

— Раз обнадежишь да не исполнишь, другой раз также — потом и вовсе верить перестанут, — сказал Костя.

— Перестанут, точно, — громыхнув заслонкой без нотки сомнения согласилась Ксюха.

— Зачем же обманывать тогда?

— А так оно жить, вроде, легче.

— Кому?

— А всем.

Нет, не то говорит Ксюха. Обманом жизни не наладишь. Вот хотя бы, скажем, если повезет ему, Косте, и завербует он двадцать человек, а обещанного отреза не дадут, кому от того легче будет? Никому. Он, Костя, тогда и свое, строительное начальство проклянет и тех, кто это начальство людьми руководить поставил. Само собой, скажи ему, что то-то и то-то для страны, для людей сделать надобно, он и словечка

не скажет, сделает, и мзды никакой за то не потребует. А уж пообещал если — держи слово. Тут ни на Родину, ни на партию, ни на что другое кивать нечего. Ну, он-то, если и случится что в этом роде, разберется, что к чему, поймет. А вот когда это таких вот Ксюх касается, с которыми никогда никакой политработы не проводилось, тогда как?

— Это преступление, — убежденно сказал Костя.

— Че-го? — протянула Ксюха.

— Это преступление, говорю, когда народ обманывают.

Ксюха усмехнулась вначале, потом посерьезнела и, сунув расхлябанный ухват в подпечье, сказала:

— Может, оно и так... Только думки-то свои ты, парень, при себе держи, встречному да поперечному не высказывай.

«Что она понимает, эта женщина, кроме поля да печи ничего не видевшая, — думает Костя. — Ну как ей объяснишь, что правда — это главное в нашей жизни, что она человеку, как воздух и хлеб нужна. Не поймет, как ни объясняй. Да, может, и к лучшему заблуждения ее, жить спокойнее».

— А кого мне бояться, если я правду говорю? За правду у нас не бьют, на губу не сажают.

— Куда не сажают? — переспросила Ксюха.

— На губу, гауптвахту. Ну, в карцер, в чулан.

— А-а! — Ксюха долго молчала, как бы переваривая сказанное Костей, потом вздохнула: — Гляжу я на тебя — трудно тебе, парень, жить будет. Ох, трудно!.. Да вам виднее. Молодые совсем, а навидались-натерпелись, что иной и старик столько не видывал. Ох, горюшко!

5 Через неделю, объездив пять сед, Костя вызвал по телефону машину. В полдень донельзя заляпанный грязью «студебеккер» остановился около сельсовета. Водитель, разминая ноги, сказал устало:

— Давай сади людей. К вечеру обратно быть приказано. Сейчас машины стройке вот так нужны, — провел по кадыку большим пальцем. — Воронов позавчера еще тридцать шесть человек привез. Шуруют, поспевай только... Ну, где твои работяги?

Костя молча кивнул в сторону, где на приступке крыльца сидела молодая, по-городскому одетая женщина с небольшим узелком в руках. Около нее стояла девочка лет четырех с не по-детски недоверчивым взглядом.

— А остальные где?

— Одна она.

— Ни-н-да!.. Влетит тебе, брат, по первое число... Давай, залазьте...

И снова подбрасывает на ухабах Костю, снова воровато лезет под фуфайку ветер, снова начинает ныть плечо. Но на этот раз настроение куда хуже, чем когда сюда ехали. Тогда хоть об отрезе мечталось, да о девчонке из конструкторского. Сейчас мечтать не о чем. Вместо отреза светит выговор. Лучше бы не подписывать договор с этой женщиной—один-то бы добрался до стройки на полутных, а то и пешком. Семьдесят километров не так уж и страшно, на фронте больше за сутки переходы делать приходилось. И не ребенок бы, тоже не стал вызывать машину. А куда ж с девочкой? На себе по такой хляби не потащишь. Да и женщина одна навряд ли дошла бы, слишком туго ей пришлось, не отошла еще с голодухи. Полтора года назад ее из-под Ленинграда вывезли. Попала вот в село. Родичи когда-то тут жили.

Родичей не оказалось. Пристроили на квартиру. Работала, как могла, да толку-то! У местных какое-никакое хозяйство, да есть, а у нее один узелок с дочерним бельишком. Подкармливали, конечно, из жалости, да та еда, что из жалости, и в рот не лезет, и пользы от нее никакой нету. А карточек в селе нет, на трудодни, как Ксюха говорила, шиш на палочке, вот и живи. Обрадовалась, когда Костя завербоваться предложил. Об одном только спросила — карточку получит ли хлебную. А то, что жить на квартире придется, что землю носилками таскать, ее не смущало. За войну к чему не привыкнешь. Подписывая договор, Костя надеялся, что следом и другие бабы желание выразят, да так вот никто больше такого желания и не изъявил... А Сереге повезло. Тридцать шесть человек! Видать, напал на село, где таких вот эвакуированных пруд пруди.

На стройке, несмотря на вечерний час, Костю поджидали. У гаража стояли Горлушин, парторг стройки и прораб со второго участка, которому позарез нужна была рабочая сила.

Каждый из них по-своему среагировал, завидев пустую машину. Прораб, не дожидаясь, пока Костя вылезет из кузова, сплюнул и молча зашагал прочь. Парторг открыл дверцу кабины, помог девочке спрыгнуть на землю, за что и был награжден благодарным взглядом уставшей женщины. Горлушин, катая желваки, с заложенными за спину руками поджидал Костю.

— Люди, значит, жизнь свою кладут, страну от врага защищают, а мы на государственный счет прогуливаемся, на машинах раскатываем? — цедил он. — Ты знаешь, чем это пахнет? Симуляцией. Саботажем.

Костя хотел сказать, что он сделал все, что мог, что он, Горлушин, не имеет никакого права так говорить и тем более обзывать его, но стиснувшая горло обида лишь выдавила из глаз слезу. Костя попытался незаметно смахнуть ее рукавом, но Горлушин увидел ее, бросил презрительно:

— А вдобавок еще, значит, и слюнтяй.

Как сдержался Костя и на этот раз, объяснить невозможно. Пожалуй, не сдержался бы, если бы не эта нечаянная крохотная слезинка. Он знал, что сказать, что ответить этой розовеющей перед ним физиономии, но раз слеза выкатилась, выходит, прав Горлушин, выходит, он и впрямь слюнтяй. Какой же настоящий мужчина, недавний солдат, будет плакать. Не плакал же он, когда фашистский снайпер всадил ему в плечо разрывную пулю. И когда пинцетом, без наркоза, вытаскивали из разорванной раны малюсенькие осколки, тоже не плакал. Только сжимал зубы, чтоб не закричать. А тут... Неужели обида сильнее боли?

Подошел парторг, сказал:

— Ладно, иди отдыхай. Женщину я сам устрою. А ты, — повернулся к Горлушину, — не шуми. Разберемся.

Как они там разбирались и разбирались ли, но только на следующее утро появился приказ, в пункте первом которого отмечалось отличное выполнение задания десятником Сергеем Вороновым. Пунктом вторым Сереге объявлялась благодарность, выдавался талон на получение отреза шевиота и премия в сумме пятисот рублей, о которой до поездки никакого разговору не было. Пункт же третий отмечал халатное отношение Кости к порученному делу и объявлял ему выговор.

Костя был согласен с приказом. Он даже доволен был — могли и за прогон машины взыскать.

Серегу Костя увидел в обеденный перерыв. Тот шел из магазина,

держа под мышкой недавнюю Костину мечту — отрез шевиота, темно-синего, с тонкими диагональными полосками.

— Поздравляю, — не без зависти сказал Костя, пощупав материал. Да, в таком костюмчике хоть куда выйти можно. И в парк, и в театр, и на танцплощадку.

— Гони три куска — уступлю.

Три куска — три тысячи. На толкучке Сереге, конечно, больше дадут. Только откуда взять эти три тысячи. Рублей двести наскреб бы.

— Слушай, Серега, скажи, как это ты завербовал столько?

— Уметь надо! — подмигнул Серега и, прицелкнув языком, гордо зашагал своей дорогой.

Уметь! Сколько раз приходилось слышать это верткое, оборотистое словечко. А как? Ну, скажем, незаметно и быстро окоп вырыть — это понятно. Тут без умения, без навыка не обойтись. Или, когда в разведку идешь, так проползти, чтобы тебя и птица не услышала, — это тоже уметь надо. А вот как жить уметь, чтобы слезы от обиды на глазах не выступали? Уж он ли не старался, он ли тех женщин не убеждал! А результат? Нет результата. Горечь одна.

Все стало понятным, когда через неделю ни одна из завербованных Серегой женщин не вышла на работу. Они осаждали управленческие кабинеты, требовали обещанного общежития, спецодежды, заработок в полторы тысячи рублей в месяц. Ошеломленный Горлушин бросал в лицо женщинам жестокие и жесткие слова о вражеской провокации, об отсутствии политического чутья; парторг более терпеливо объяснял, что вот кончится скоро война, — «подождите еще немного!» — и все наладится, просил, убеждал, но ничего не помогало. Бабы порвали договоры и, не получив даже расчета, разъехались по домам.

Случись что подобное на фронте, не миновать бы Сереге штрафбата. Кровью своей за обман заплатить бы пришлось, а то и головой. А тут и выговора не вкатили. Будто и не произошло ничего. Будто так и надо.

Косте думалось, что после этой истории Серега в глаза людям глядеть постыдится, встреч избегать будет. Куда там! Серега и прежде любил на собраниях и совещаниях разных выступать, — язык у него подвешен что надо, — теперь же вообще как бы штатным оратором заделался. И людям в глаза смотрел спокойнехонько, с каким-то даже превосходством во взгляде: вот, мол, я — возьми-ка за рупь двадцать.

Не просто начиналась для Кости мирная жизнь. Все понятия, приобретенные в первой части его биографии, мешались, путались, ни-спровергали друг друга.

Вскоре пришла Победа. Еще через некоторое время начали возвращаться фронтовики. Завербованную Костей ленинградку перевели на работу в столовую — и без женщин стало кому тачки катать, носилки таскать, киркой скальный грунт разрабатывать. Отдел кадров только успевал оформлять людей на работу. Стройка зашевелилась, забурлила. И тут не то что над превратностями судьбы задумываться — передохнуть некогда стало. А история с вербовкой стерлась из памяти. Будто и не было ее вовсе.

Только иногда лишь вспоминалась почему-то Ксюха. Что она имела в виду, когда говорила: «Трудно тебе, парень, жить будет. Ох, трудно!»?

□ □ □

Мы сообща слагаем даже строчки,
Идем бок о бок с кем-то до седин.
А умираем все поодиночке,
Со смертью все один мы на один...
Придет к нам радость — делимся с другими,
Нагрянет горе — на люди спешим.
С людьми — не только близкими, с чужими—
Мы на земле уверенней стоим.
И космонавт в небесном океане,
И водолаз в глубинах под водой —
Они не одиноки в ожиданье
Желанной встречи с солнечной землей.
Не одинок сидящий в одиночке
В тюрьме франкистской.
Сквозь глухой бетон
Выстукивает он тире и точки —
С собратом разговаривает он.
Пока живем, любясь синим маем
Или печалься вместе с сентябрем,
Нигде мы одиночества не знаем,
В какую глушь порой ни забредем.
...Ловлю в ночи ветров и снега смуту,
А вижу полдень, радуги венки.
Я с целым миром каждую минуту!
Лишь в час последний буду одинок...

□ □ □

Ты в первый раз уехала далеко,
Туда, где в море вольно кораблю,
И так мне стало грустно, одиноко,
И так тебя сегодня я люблю...

Припоминаю мелочи, детали,
 О чем мечтали в лунной тишине,
 Какие книги вместе прочитали,
 Что в день рожденья ты дарила мне.
 Нет и следа от вздорного, плохого,
 Осталось лишь хорошее со мной —
 Твоя улыбка, ласковое слово,
 И добрый взгляд, и голос твой родной.
 Со стороны как будто я увидел
 Обоих нас. И злюсь я на себя,
 Что вот тогда-то я тебя обидел,
 Что говорил с тобой, в сердцах грубя.
 Припомнив все успехи, неудачи,
 Что нас сроднить успели за года,
 Хочу, чтоб лучше было все, иначе,
 Чтоб ссор, обид не знать нам никогда.
 Ведь даже просто маленькая стычка
 Проводит в жизни черную межу...
 Пускай считают, что любовь — привычка.
 Хорошая привычка, я скажу!

□ □ □

Виктору Баянову

Есть у меня поэт любимый,
 Не из маститых — молодых.
 Ах, как мне мил неповторимый
 Настрой стихов его простых!
 Чужды красоты и лоску,
 Они живут. Читаешь их —
 И словно смотришь на березку
 Среди колосьев золотых.
 Иные рифмой щеголяют,
 Выводят образов шитье,
 А он читателям вверяет
 Лишь сокровенное, свое.
 Он не повысит голос гневно,
 Душой доверчивой открыт,
 Он очень тихо, задушевно
 О пережитом говорит.
 ...Вот, симпатичен, ладно
 кроен,

Сидит он рядом за столом
 И, как всегда, застенчив,
 скромнень,
 О чем-то думает своем.
 Хоть улыбается от шуток,
 Но не скрывает, что устал:
 В ночную смену он полсуток
 На паровозе отстоял.
 Ласкают солнечные нити
 Припухлых щек его пушок...
 — Ну, что есть новенького,
 Витя?
 — Да написал один стишок...
 Гляжу на строчки,
 чуть косые,
 Что скромно названы стишком, —
 И говорит со мной Россия
 Сердечным, русским языком!

СЛОВО О «СЛОВЕ»

(Из цикла «Стихи о словах»)

В той старинной стари,
Где гудки да свирели,
Помирали цари,
Терема их старели.

А еще до орды,
До коварного хана,
Много сплыло воды,
Много было беды, —
Брань в полях не стихала.

Там навеки замолк, —
Градом стрел доконали, —
Славный Игорев полк
На реке на Каяле.

Знает сыч на суку,
Как там звать-величать их...
Только был в том полку
Примечательный ратник.

Болью досыта пьян,
Синь в глазах поседела.
Мимо свистнул аркан
И стрела не задела...

Вот он гусли берет
С круглым ликом перунным,
Вот выходит вперед,
Ударяя по струнам.

И вершат колдовство —
Чудный выпал им жребий —
Десять пальцев его —
Десять соколов в небе.

Смолкли колокола,
Тихо, как перед боем.
Только страшная мгла
Закружилась над полем.

И неведомый свет!
Что в нем: радость ли,
грусть ли?
Через тысячу лет
Прогремят его гусли!

Пригорюнился лес.
Совы крылья простерли.
И споткнулся певец —
Слезы дрогнули в горле.

Ни травинушки нет
Над могилой сырою.
Через тысячу лет
Мать оплачет героя.

Мы отыщем твой след,
Где стрела запевала!
Через тысячу лет
Выходи, запевала!

С прозвучавших страниц
Веет грозным и давним.
Ну-ка, князь, сторонись,
Не тебя нынче славим!

Не размах твоих плеч,
Не коня удалого —
Славим Русскую Речь!
Славим Русское Слово!

□ □ □

Что такое со мной, что такое?
Или годы стучатся сильнее?
Снятся кони мне, снятся мне кони,
Как засну — так увижу коней.

Кони рыжими гривами машут,
Ночь росой и хрустом полна,
И кукушка кричит, и маячит
Над конями большая луна.

Я в трамвае грохочущем еду,
Пыль глотаю и гарью дышу,
Но ночную задумчивость эту,
Как травинку, с собою ношу.

В карусели дневной, за делами,
Вспоминать вроде некогда мне,
Что на дальней июньской поляне
Бродит конь по колено в луне.

Но и все же, как спутник в дороге,
Ходит вслед, от меня ни на шаг,
Ощущение смутной тревоги,
Что живу я не там... И не так...



Геннадий ЮРОВ

ПОДКОВА

На столе тяжелая подкова.
Ей бы след печатать по земле,
Не сбиваясь с ритма

скакового...

А она лежит вот на столе.

Мне хранить ее всю жизнь

велели

На мою удачу, на успех,

В серии других для этой

цели

Произвел ее метизный цех.

Я держу подкову на ладони —

И мне видится, как вдоль

большой реки

Мчатся неподкованные кони,

Злые вороньи рысаки.

Слышится призывное их ржанье

В облаке прибрежного песка...

Это за земным своим

призванием

Мчится лошадиная тоска.

И еще мне видится такое:

Человек пронесет сквозь лета

Гладкую блестящую подкову

И не знает, что она не та,

И не знает он,

что есть другая,

Тысячи запомнившая верст,

Погнутая, стертая, рябая,

Ржавая от придорожных рос.

Вот лежит коричневый,

двурогий,

Бледный слепок счастья

моего...

На каких неведомых дорогах

Отыщу я подлинник его?

ПОДЛЕЦЫ

Я пожимаю руку подлецу.
Верней, подлец мне руку пожимает.
Подлец плоды победы пожинает —
Я это вижу по его лицу,
Я это вижу по глазам его:
Они смотрели на меня недобро,
Они запоминали все подробно,
Чтоб мне припомнить в случае чего.
За то, что путь мне ложью не мостить,
Что я урвать от жизни не умею,
Что льстить не стану, и не стану мстить,
За то, что в этом я его сильнее.
Я пожимаю руку подлецу,
Потом я долго руки отмываю,
Мне кажется, я руки умываю,
Чтоб не ударить по его лицу.
Ударить подлеца — не просто это:
Он — семьянин, он — столп и, наконец,
У подлеца чистейшая анкета,
Туда не внесено, что он подлец.
У подлеца честнейшее обличье,
Его уста о долге говорят.
И думаешь: а вдруг все это зря,
А вдруг я в чем-то здесь преувеличил?
Мы — добрые,

мы — добрые,

мы — добрые,

Для подлецов и сволочей удобные,
Мы высшую гуманность возвещаем,
Мы трудно бьем, зато легко прощаем.
Они идут с улыбкой нехорошою,
Согнувшись под своей нелегкой ношею.
Вновь предают и вновь клянутся в верности
И прячут в воду дел своих концы...
Лишь после гроз всплывают на поверхности
Обломки, пепел, грязь... и подлецы.

В КЕДРАЧЕ

На фоне вечера,
Зарей просвечены,
Шишки кедровые,
Как вспышки багровые.
Так и просятся
В руки броситься.
По кончику ветки
Кидаю метко.
Жданно-гаданно
Пахнущая пряно

Шишка падает
В ладони прямо.
Частица кедра,
Частица ветра,
Частица солнца
В ладонях жжется.
В ней зной и нега,
В ней бьется смолка,
В ней песня неба
Еще не смолкла.

■ *Анатолий Яблов*

В ТЕСНИНЕ АРАЧЕВА

КОРОТКАЯ ПОВЕСТЬ

1

Погода явно портилась. Федя Дыгай спешно гнал старенький уральский грузовичок. Изредка он высовывался из кабины, посматривал вверх: над головой дымились серая капель; голубыми искрами проскакивали редкие крупинки снега. Значит, уходит мороз, уступает место буре.

Три года Федор колесит по Сибири. За это время, слава богу, изучил капризы здешней зимы. Не успеешь одуматься, как ветер возьмет разгон, обрушит небо и... если есть у тебя клочок бумаги, пиши загодя: «Прощайте родные...».

Справа, обогнув разлапистую ель, терялась меж сопок узкая санная дорога. Вела она к леснику Ерофею Морошкину.

Федя притормозил машину, задумался: «Может, переждать у него? Только не пустит ведь, черт сохатый. Погорячились тогда ребята...»

...Прошлым летом завернул к леснику Вася Пузырев. Меду захотел Вася. Может, и поживился бы, да поступил глупо: ехал возле реки, а машину решил заправить из ерофеевского колодца, а того в ум не взял, что Ерофей — кержак и что кержаки на этот счет народ лютый.

Зачерпнул Вася своим резиновым мешком воды и не успел дойти до машины, как рухнул от сильного удара. Опомнился — кряжистый Ерофей топчет над ним:

— Я те покажу, как воду поганить!

За побитого Ваську мехколонцы решили отомстить. Вырубили березовые суковатки, набились в машину и поехали к кержаку.

Ерофей ладил к колодцу запор. Крепко, зло гремел молотком. Тут и застали его врасплох.

Растерялся кержак. «Груньке бы гукнуть, что ли?» — подумал он. Однако не крикнул: Ерофей не из тех, кто кричит от страха. «Может, сама заприметит, — решил он. — Собаку б спустила». Собака у лесника добрая. Смело медведя-шатуну брала. Быстро бы усмирила их. И ружье в сенцах. Ружье у Ерофея всегда наизготове, бери и пужай. «Только ведь баба она и есть баба. Наверно, уже за печью схоронилась, не выкуришь...»

Ему сказали холодно:

— Что, боров, будешь ответ держать?

Он и слова сказать не успел: смяли, навалились всей оравой. И, наверное, быть бы худу, да из калитки выскочила Грунька, жена кержачка. Как коршуниха набросилась на ребят. Огненно-рыжие волосы разметал ветер. Пробила в гущу, где мяли мужика:

— Вы, вы-то... Молодые, умные, а такое дело...

Глаза у юной кержачки тоже огненные и губы огненные. Грудь тревожная, горячая, так и ходит ходуном под тесной ситцевой кофточкой. О, баба! И отступили парни. Но Ерофею наказали:

— Смотри, дядя... Если еще кого обидишь — пеняй на себя. Под землей найдем.

Взобрались в кузов и, пока шофер заводил мотор, жадными глазами смотрели на красивую кержачку.

Ерофей, встав, вытер окровавленный нос рукавом, погрозил:

— Погодите, прижмет вас!..

И вот Федьку Дыгая «прижало».

«А может, забыл кержак про обиду? Времени-то вон сколько прошло. Не забыл — уговорю. Как-нибудь... И Грунька не оставит в беде...»

При мысли о Груньке Федор чуть склонил голову, посмотрелся в зеркальце. На него уставились черные с прищуром глаза. Разве отразишь такие? Улыбнулся, поправляя волосы, что выбились из-под лихо заломленной кепки. И окончательно решил: «Рискну!».

Круто повернул машину. Когда удачно миновал сугробы, наметенные возле косматой ели, запел вполголоса:

Есть в Мо-скве ри-старанчик приличный.

Лельке скучна бы-вает па-рой.

Па-да-шел па-ренок симпа-тичный,

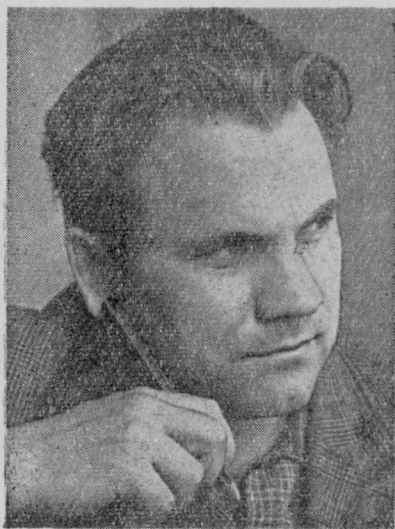
Парень в кепке и зуб за-ла-той...

Потом перешел на шепот. И уже с грустью вспоминал о Москве, где поработал немногим больше года, о приличном «ресторанчике» и о зазнобе-Лельке. И лишь распочал третий куплет своей печали, впереди зачернело жилье лесника: высокая ограда с острыми макушками теснин, заснеженные крыши дома, сараев.

Пахнуло дымком. Федор отметил: «Ужин готовят». И почувствовал, что голоден. Прибавил скорость. Торопливо откатнулись назад придорожные деревья. Какой-то миг — и вот уже замелькали неровные зубья ограды.

Федор остановился возле сомкнутых ворот. Пошел к калитке. «А ничего, удобно устроились». Калитка была заперта. Он взял за большое кольцо и застучал.

— Ув! Ув! — отозвалась собака. Федор подождал минуту, другую и застучал настойчивей. «За столом, наверно. Не хотят подыматься...» К калитке, брэнча цепью, подошла собака. Хрипло задышала. Встав на задние лапы, заскребла доски когтями.



Анатолий Ябров

«Стукну в окно». Федор обернулся — нет у избы окон, стоит изба к миру спиной. Он сложил руки рупором и крикнул:

— Эй, хозяин! Ого-го-оо!..

Тишина.

Федор отбил ногой глызку. Бросил ее за ограду. Она ударилась в ставню так, что даже стекла вздрогнули, а откуда-то из-под карниза выпорхнул до смерти напуганный воробей. Но в избе — ни звука.

«Что за люди!», — рассердился Дыгай.

— Ах! Ах! — яростно заплясала собака. Ее широкая лапа с черными когтями высовывалась из подворотни, оставляя на заледенелой дорожке глубокие борозды.

«А может, их дома нет?.. Да ну, куда им уехать...».

Федор поднялся на буйер машины. «Точно, дома!» Под навесом пега я лошадь. Взмахивает хвостом, будто ее тревожат комары, тычет мордой в сено. У пригона — горка навоза. Парит еще.

«Значит, не хотят пустить».

Федор посмотрел на окна — непроницаемы. В одном из них мелькнула тень, кто-то задернул штору, и окно засветилось тусклым восковым светом — в избе зажгли лампу.

— Э-ге-гей! — крикнул он, но уже не так громко, как прежде. — Откройте.

На крышу дома спустилась сорока. Махнула хвостом, разметая снег, застрекотала: «Как бы не так. Как бы не так». Федор фыркнул на нее, но сорока и не подумала улетать. И он вдруг почувствовал, что промерз, что бьется здесь напрасно. Темь уже кутала двор, лес, дорогу. Ветер строгал сугробы, со свистом крутил снег.

«Время зазря потерял, дурак».

Федор хотел было прыгнуть с буйера, но неожиданно в избе растворилась дверь. На крыльцо вышла Грунька. Он даже подпрыгнул от радости: «Слава богу, а то думал совсем...» Но кержачка махнула рукой:

— Поезжай, Федор...

Он побледнел, растерялся:

— Куда, Груня?..

— От греха, Федор. Подальше...

— Буря же будет...

Она прикусила губу, привалилась на перильце. Федор только сейчас обратил внимание: Грунька почему-то прикрывает ладошкой левую половину лица. Словно глаз засорила.

В окне откинулась шторка. Бородатое лицо прильнуло к стеклу..

— Значит, дважды не спасают?

Грунька молчала, опустив голову.

От обиды у Федора задрожали губы.

— Прощай, — сказал он сорвавшимся голосом. — Если что, передашь нашим...

Грунька кинулась в сенцы, хлопнула дверью.

Федор слез с буйера, забрался в кабину. Долго дышал на заглодевшие руки, пристально посматривал на калитку. Казалось, вот-вот распахнется она, и ему скажут: «Заходи, парень».

Но калитка не открывалась. Когда руки отошли чуть, Федор вздохнул: «Вот тебе и Грунька!» Сердито нажал на стартер — мотор взвыл, словно от боли и обиды. Федор бросил машину влево, помял сугробы и покотил обратно.

Позади с хрипом рвалась с цепи собака...

Чем дальше от кержачьей развилки, тем круче становятся горы. Дорога петляет, огибая их, карабкается вверх, спускается вниз и примерно в трех километрах выходит на замерзшую речку. Речка здесь очень узкая. С обеих сторон ее стиснули высокие скалистые берега. И место это называется — теснина Арачева.

Летом тут всегда сумрачно, сыро. Камни порастают белым водянистым грибком. На кустарниках и чахлах березках, заселивших расселины, с трудом успевают распуститься листья. Зимой в этом своеобразном коридоре гуляют сквозные ветры. С крутых берегов свисают снежные карнизы-козырьки, готовые обрушиться в любую минуту от неосторожного постороннего звука или от собственной тяжести.

Теснину поносят на чем свет стоит. Нередко здесь можно увидеть такую картину: мчится машина, а шофер, задрав голову, торчит на подножке — не покажется ли там, наверху, снежный дымок обвала?

По спидометру теснина Арачева тянется на три и восемь десятых километра. Когда остается позади последняя скала, шофер останавливается. Все еще поглядывая вверх, но теперь уже на солнце, закуривает. Прислонившись к борту, незаметно для самого себя, вытирает взмокший лоб. Трудно поверить, что на таком ветру может проступить пот. Но пот проступает.

...За десять лет шоферства Федор впервые заговорил с машиной. Заговорил, как с хорошим другом:

— Крепись, Захар. Ты же самый первый наш грузовик. Всю войну прошел. Стыдно тебе слабость проявлять. Моя бы воля, орден тебе вручил. Самый солидный. Но, знаешь, люди несправедливы. Танку они могут поставить памятник, а вот тебе, трудяге... Но ты особенно-то не обижайся. Броня она всегда заметней. — Федор посмотрел на спидометр. — Чувешь? Осталось нам из страшных два километра. Не два уже. Один девятьсот девяносто девять. Совсем чепуха!

Мгла была настолько плотной, что свет не пробивал ее. Два тусклых пятна плясали перед самыми фарами.

— Вот глаза у тебя, Захар, не того, — продолжал шофер. — Тут уж извини за критику. С такими глазами мы можем запросто угодить в скалу...

На всякий случай Федор приоткрыл дверцу. «Проскочить бы эту чертову ловушку, а там... Лес рядом, руби, разводи костер...»

Сухой снег хлестал по стеклу. Дворник беспомощно дрыгался по гладкой наледи. Деревянная расшатанная кабина глухо стонала от тряски, от резких порывов ветра. Казалось, она вот-вот сорвется и улетит в кипящую мглу.

— Еще полтора километра...

Федор облизал пересохшие губы. Тьма густела и двигалась навстречу сплошной злобещей стеной. «Надо бы остановиться», — подумал он. Тусклый пучок света вырвал вдруг заледеневшую глыбу. Горячая мысль обожгла его: «Скала!» Федор рванул баранку влево. Машина вздрогнула, ткнулась в сугроб и судорожно затряслась на месте.

— Пронесло, — вздохнул он, и руки, как плети, соскользнули с руля. Он долго сидел, откинувшись на спинку. Безвольный, расслабленный, не чувствуя, как трясется машина, не слыша, как надсадно воеет мотор. О пурге и говорить не стоило — давно примелькалась.

Очнувшись, Дыгай выключил скорость и толкнул дверцу. «По-

смотрю, что там. Сидеть, конечно, я не буду здесь. С лопатой, но выбе-
рись». И только прыгнул с поднож-
ки, ветер рванул с него распахнутый
полушубок, на голове пузырем взду-
лась фуражка. Федор завертелся на
месте — пропади ты все пропадом! За-
пахнулся и полез в кабину.

— Вот так, — сказал себе. — Хоть
ты, Федя, и Дыгай — посиди, не вы-
бегай.

Удивился: смотри ты, стихами го-
ворить начал. Похлопал себя по кар-
манам, вытащил помятую пачку
«Прибоя», потряс — пустая. От доса-
ды даже застонал, швырнул коробку
под ноги.

«Что теперь делать? Сутки пере-
живу. Сутки можно пережить запро-
сго. Двое — так-сяк, ну а трое... Дол-
жны пробиться наши. Пробьются: ска-
ты везу, не что-нибудь...»

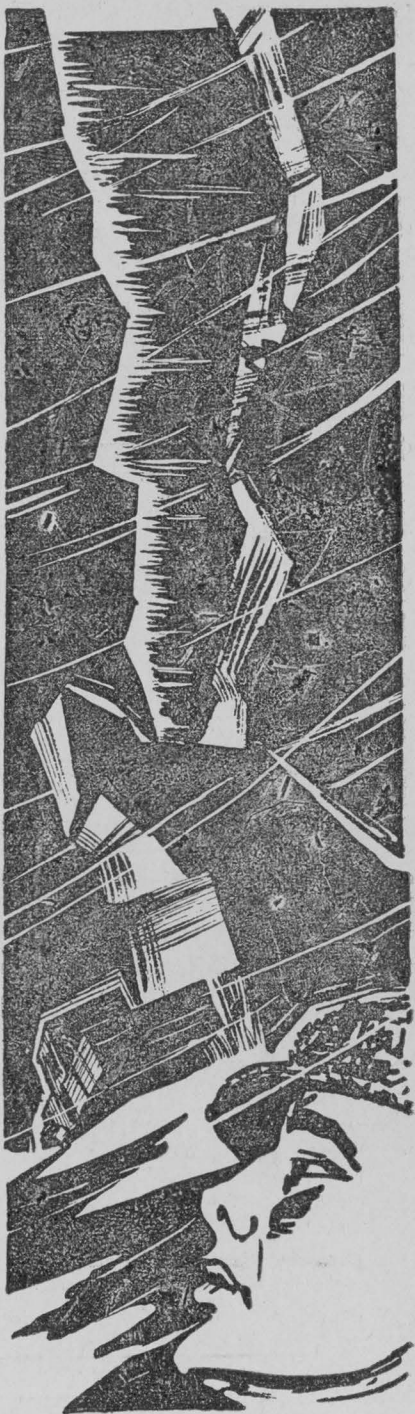
Федор поднял воротник. «Пока
не замерз, надо отоспаться. Кто знает,
на сколько она зарядила...» Он подо-
гнул ноги и устроился на сиденье.

Прошлую ночь Федор не сомкнул
глаз. Заехать в какой-нибудь попут-
ный автогараж не решился: и не за-
метишь, как растащут скаты. Кукуй
потом. А надо было подремонтировать
машину, заварить кое-что. Проехал-
то в общей сложности, считай, около
семисот километров. Пришлось оста-
новиться возле уличного фонаря. И
провозился с ремонтом почти до са-
мого рассвета.

...Спал Федор долго. Ветер, заду-
вая в щели, припорошил полушубок.
Спал бы еще, но словно кто под бок
ширнул: радиатор разморозил!

Выскочил из кабины, как ошале-
лый. Ветер свистал пронзительно, ме-
тал сугробы, на свой лад перекраивал
машину. И нос и крыша ее округли-
лись. Будто не Захар был перед
ним, а американский «студебеккер».

В нескольких шагах сквозь снеж-
ную кипень проступала громада бере-
га. Федор подошел, протянул руку —
холодные, заснеженные камни. По
спине пробежали мурашки. «Теперь
бы уже сидели с Гришкой Арачевым,
делились новостями. Как ты? А ты
как?»



...Легкий вагончик встряхивало при каждом порыве ветра. Парни сидели вокруг буржуйки. Бока ее так покраснелись, что с них вспархивали огненные мушки. Парни молчали. Кто-то в задумчивости строгал полешко, кто-то теребил бересту. Гриша Арачев резал картофелину и приклеивал пластики к трубе. Любил он печеную картошку.

В углу надрывно кричала радистка, рывая Гутька:

— Я «Заря», я «Заря»! «Волга», ты слышишь меня?

Третьи сутки бушевала метель. Третьи сутки в теснине сидели геологи. С ними был двухлетний ребенок. Два раза на помощь выходили бульдозеры. И два раза возвращались: сбивались с дороги.

Гутька сняла наушники. Закрыла лицо руками.

— Молчат... Плохо, наверно, им...

«Глупая. Кому хорошо сидеть в такую падеру под открытым небом? Да еще без пищи!» Григорий посмотрел на Гутьку. Он тоже был рябой, и его звали Гутькиным братом.

Он встал, засунул в карман складной нож. Поправил на голове пыжиковую шапку, на все пуговицы застегнул меховую куртку. И сказал:

— Я все-таки поеду!..

— Без толку, — возразили парни. — Два раза ходили... Ты что, лучше других?

— Не лучше, но... попытаюсь, — он посмотрел на Гутьку. Кажется, ждал — а что скажешь ты? Но Гутька молчала. И он вышел.

Стук дверей словно разбудил радистку. Она надела наушники и снова закричала:

— «Волга», «Волга»? Я «Заря», я «Заря»! Ты слышишь меня? Наш лучший бульдозерист Гриша Арачев вышел к вам на помощь... «Волга»?..

От трубы, испекившись, с легким пощелкиванием отскакивали пластики. Там, где они сидели, оставались круглые синеватые пятна.

...Григорий не вернулся. Его тяжелая машина ушла под лед почти рядом с геологами. Или он уронил нож бульдозера, или неосторожно развернулся — никто об этом не знает.

Произошло это два года назад.

...Согнувшись, Федор разгреб снег, отвинтил пробку. Присел на корточки, повернувшись спиной к ветру, и тоскливо смотрел, как стекает из радиатора вода. Когда упали последние капли, похлопал машину по крылу:

— Загорать будем, Захар...

Нынче в декабре почти четверо суток отсидел здесь Павел Махонин. Но ему что! Он мог и месяц переждать. Воздух свежий, а продуктов — целый кузов. Бери что хочешь. И он, конечно, не стеснялся. Когда подсчитали, оказалось: дядя Паша высосал 97 бутылок вина. Мехколонцы удивились:

«Как ты смог? Прямо не верится...»

«Он с кержаком на пару трудился...»

«А может, с кержачкой? Дядь Паш все-таки помоложе».

Махонин посмеивался:

«Давайте, давайте. Язык он без костей. А если хотите, опытом могу поделиться. Так было: дерну кружечку — не берет. Еще одну пропущу — не берет. Стал я десять градусов на мороз скидывать. А их в бутылке-то всего восемнадцать. Что там мне оставалось? Пшик. Вот и прихотилось назараз опорожнять по две красноголовых...»

— От ведь как, — сказал Федор с огорчением. — Немножко до сотни не дотянул. Надо было поднатужиться, — вздохнул, причмокнув губами. — А нам загорать придется вхолостую...

Лишь только засветлело чуть, Федор обрадовался: «Ага, ночь позади!» И, как будто ждал этой минуты, откинул сиденье, взял топор. «Пора о дровишках подумать». На самые уши натянул фуражку и, сгорбившись, почти ползком заспешил к берегу.

Цепляясь за камни, за кустарники, Федор начал взбираться на кручу. На пути попалась витая-перевитая береза. «Наверно, и лучше есть, да где их искать?» Размахнувшись, ахнул со всего плеча — топор отскочил, будто Дыгай рубанул не дерево, а хорошо накаченное колесо машины. Усмехнулся: «Ишь ты!» И еще раз саданул — та же картина. Кровь прилила к вискам — да что оно, заколдованное?! И со злости так хрястнул, что даже ладони заныли. Топор впился глубоко «Давно бы так», — заметил Федор удовлетворенно и следующим ударом свалил березку.

Когда он срубил еще три, у него поднялось настроение: «Подумаешь, теснина! Такой еще костер разведу, что...» Над головой ухнуло, зашипело. Федор замер с поднятым топором — неужели обвал?..

Мимо кубарем прокатилась коза. Прокричала дико, тревожно. Он хотел было броситься в сторону, но почувствовал — снег поплыл под ногами и в следующий миг что-то тупое ткнуло в спину. Падая, он рубанул податливую пустоту и поехал вниз, как на конвейере. Мелькнула мысль: «Все, отбрыкался...».

Очнулся Федор — глаза, нос, уши залеплены снегом. И сам в снегу. Выкарабкался с трудом. Машина была почти рядом. Тускло мигал глазок фары. Федор похвалил себя: «Хорошо, что в сторону от машины ушел, завалило бы...»

В кабину залез, не отряхиваясь. Спрятал руки в рукавах полушубка и, закрыв глаза, навалился грудью на баранку.

На лице таял снег. Крупные капли, пересекая царапины, розовели. Из разорванной фуражки торчала еловая ветка. «Нарубил дровец... И костер развел. Дурак... Немножко бы и... Через недельку, а может, и раньше, собралась бы вся колонна. Парни сняли бы шапки, примяли свои нечесанные чубы. Девчонки украдкой терли б глаза. Был Федька, трудяга и весельчак, любил их всех и вот отлюбил — лежит заолоделый и никогда уже не улыбнется.

Эх, Федька, Федька! Бедовая твоя голова.

Гришке, как только его вытащили водолазы, кинулась на грудь радистка Гутька. Забилась, заголосила. Никакого удержу. У всех растопила лед на душе. Даже старые бывалые мужики зашвыркали носами.

А о тебе, Федор, кто поплачет?

Вздыхнул: так, как Гутька, — никто, наверно. Василь Матвейч — тот сказал бы:

— Прощай, друг наш! Вместе тут горе мыкали, харчами последними, как на фронте, делились... Прощай, Федька! Если обидели чем — не поминай лихом...

А потом... потом бы шли поезда. По дороге, которую они сейчас отсыпают. И останавливались на станции... Дыгаевская. Ребятишки бы спрашивали: «Почему Дыгаевская?». Им бы рассказывали: «Строил тут парень, звали его Федор Дыгай, так он...»

...В пимах начал таять снег. Наверно, немало нагреб его. Федор решил переобуться. Но снять пимы оказалось не так-то просто. Они словно приросли к ногам. Федор защемил пятки в притворе. «Никуда

не денетесь, стащу... Эх, Москва-матушка, все бы можно вынести, только не пимы сибирские. Вечно, как в кандалах...

Он так и не смог стянуть их. Слишком поздно спохватился — разбухли портянки.

Потом он тщательно перебрал в «бардачке» гайки, болтики, мелкие ключи. Среди промасленного барахла попалась корка. Он разломил ее на две части и одну из них, меньшую, съел сразу же. Другую засунул за пазуху. Там у него, на пиджаке, был потайной карман. Держал в нем Федор запасные путевки, если удавалось заполучить их, да помятые рублики, которые сберегал до того дня, когда Павел Махонин приезжал с базы оorsa.

Федора то и дело прерывала обжигающая мысль — а вдруг потерял корку? Совал руку за пазуху — нет, лежит на месте.

— Да что со мной? — тряхнул он головой. Решил: — Надо чем-то заняться...

4

На пимах у Федора бахилы — глубокие галоши-самоделки. Склеил их осенью из камеры. Хорошие получились бахилы! Он знал, что они целы, но решил проверить. Так, на всякий случай. Может, проткнул где? Снял, как слепой, ощущал кругом пальцами — добротны еще галоши. Здорово проклеены. «Как вернусь домой, Димке письмо напишу. Хороший, мол, братка, у вас, летчиков, клей. И спасибо передам. А то так: пишет, беспокоится обо мне, а я хоть бы хны. Вроде бездушный стал. Орехов кедровых можно бы послать ему. Подожди, будет вот осень, пошлю...»

Вверху, за защитным козырьком, лежал клочок ветоши из ниток. Ветошь пахла бензином. Растеребил ее, распутал и решил свить бечевку. Сплел — толстой показалась. Распустил и начал потоньше. На этот раз завершил ее пышной кисточкой. Тряхнул перед глазами — ничего получилось! «Раньше такие пояски носили. Длинная рубаха и такой поясок...»

— Чем еще заняться? — пока спрашивал, рука очутилась за пазухой. Пошарила — вот она, корочка! В ложбинах ноздреватой корки застряли зеленые табачины. Выдул их. Вцепился зубами, жадно захрустел. Расправившись, осмотрел колени, бережно, тряской рукой подобрал крошки и, запрокинув голову, ссыпал в рот, как семена из маковки. И сразу поскуцнел, уставившись в известковое стекло. От нечего делать подышал на него, вытаял пяточок, прильнул: «Метель воеет, зверюга. В феврале всегда такие метели. Самый паршивый месяц. Недаром, наверно, хохлы называли его лютнем...

Да и весна тоже хорошая. Речка вот, смотреть не на что. Гальян проплывет — плавники видно. А как забунтует, не знаешь, что делать. В прошлом году в самую распутицу прорвала вдруг дамбу. Воды — Черное море. И откуда бы? Так подкралась, что никто не заметил.

Кто-кто, а Федор никогда не забудет ту весну. И не только потому, что она была такая буйная. Не только...»

...Федор поставил машину. Две смены отбухал сегодня, уморился. Присел на пенек, закурил. Стояла темная ночь. Весной они всегда темные, не проглянешь. Бойко звенели ручьи. Легкий ветер доносил с сопки крепкий запах хвои. «Сейчас бы на сене заночевать». Посмотрел вокруг — не сохранился ли где стожок? Перед ним темнел ровный ряд машин; в стороне, за ложиной, покатые крыши домов. Туда шоферы ночевать подались. Вдруг почувствовал — под ногами вода. Откуда-то прокралась тихо и незаметно.

«Неужели прорвало дамбу?» Федор вскочил, как ужаленный, заметался. А вода прибывала. У ног кружились прошлогодние листья, палки, солома.

— Эгэ-э-э-эй! — заорал он. — Дамбу прорвало. Эгэ-э-эй!

Бросился к машинам, не думая уже о том — услышали или нет его. Вывел на косогор одного, другого, третьего зилка. Вывел бы и четвертого, но вода уже скрыла колеса, и машина забуксовала. Наверное, сошел с дороги.

Мимо проплыл сарай, в котором снабженцы хранили цемент. У ремонтной мастерской стоял экскаватор. Одна гусеница его была разобрана. Равновесие поддерживали несколько чурок. Сейчас их вымыло и экскаватор свалился на бок, подняв фонтаны брызг.

Из кабины Федору пришлось вскоре перебраться в кузов, из кузова — на кабину. Вода, казалось, преследовала его. Когда скрыла машину и начала лизать голенища сапог, он не то чтоб от страха, но прикусил губу — так хотелось закричать: «Спасите!». Потом вода поднялась до колен, пришлось скрестить руки на груди.

Берег почти рядом, вот он темнеет, но разве дотянешь до него в спецовке? А снять... Попробуй стянуть мокрую брезентуху!

Продрог Федор, а с дрожью пришли судороги. С первого их приступа он застонал и, потеряв над собой контроль, заорал:

— Эй, вы, там... Думаете, я железный? Думаете, могу торчать тут до утра? А ну лодку сюда!

Обращался он к мужикам, что бестолково суетились на дамбе. После своего «эй, вы, там...» он ввернул такое словечко, от которого даже вода заплескалась.

— Трясете там штанами, — продолжал он.

Вода опять заплескалась. За спиной послышался женский смех.

«Кержачка?!» Федор повернулся. Грунька сидела в корме лодки, подгребая к нему. И продолжала смеяться:

— Так их, так...

Федор вспыхнул:

— А что? Потопили все, а теперь...

— И я про то же...

Она помогла Федору забраться в лодку. Он потянулся было за веслом, но судорога пронзила все тело. Федор скорчился, застонал от боли.

— Крепись, крепись, родненький, — подбодрила Грунька и проворно замахала веслом. То слева, то справа, чтобы ровнее шла лодка.

Причалив к берегу, она убежала. И хоть бы слово сказала. Федор нервничал: придет она или нет? Ждать ее или идти домой? От мелкой дрожи у него стучали зубы.

Появилась Грунька так же неожиданно, как и сбежала. Тронула за плечо:

— Давай в баню, герой. Вон темнеется, видишь?

Он кивнул головой.

— Напарисься, в стакане там на окошке стоит медвежье сало, натришь хорошенько и никакая хворь не возьмет...

Он опять кивнул и пошел, но не сделав и десяти шагов, обернулся. Грунька стояла на прежнем месте. Он не видел ее глаз, но ему почему-то показалось, что они очень грустные.

Федор вернулся, стиснул ее локоть.

— Спасибо, Грунь...

— Одежа-то леденеет, иди...

— Редко ты папашу навещаешь...

— Занемог отец. Отвезла в больницу.

— В такой разлив?!
— А что?
— Отчаянная ты. Ночью, одна...
— О! Я тут каждую лужайку знаю, каждый кустик. — Вздохнула. — А тронуть... кто меня тронет?
— Завлечь могут. Парни у нас — во!
Грунька освободила свою руку.
— Куда им до Ерофея-то моего!
— А ты приходи почаще...
— Папашу проводывать? Эх, Федор! Где твои «парни-во» раньше были? А теперь... Иди парься, хватит трястись-то.
И она склонилась над лодкой.
...Днем Федор зашел в магазин. Долго присматривался — что бы купить ей? Чем бы таким отблагодарить?
Купил Федор голубой газовый шарфик.
Груньку он разыскал в толпе возле заливной стройплощадки.
Теперь все там торчали. Развернул шарфик.
— Вот... тебе...
Она смутилась.
— Выдумал тоже...
Но он настойчиво прошептал:
— Бери...

Грунька сдвинула с головы свой платок. Повязавшись шарфиком, вскинула на Федора свои насмешливые глаза — ну как? Он посмотрел горячо. Качнулся было к ней, но что-то сдержало его. Только из груди вырвался приглушенный вздох. И уже не скрывая волнения, он сказал:

— Уезжай, Грунька. Уезжай отсюда...

Пошел, протискиваясь среди людей. И даже не оглянулся, не посмотрел — как она восприняла эти слова?

«...Почему так получается? — думал Федор. — В стольких городах работал — ничего, все гладко шло. Конечно, если не считать неприятных встреч с инспектором ГАИ. А тут дохнуть не успеваешь: беда за бедой. Одну стряхнул — другая на очереди. Или они, беды, только на окраинах селятся?..»

Сейчас и на базе нелегко: дорог нет, а самолет не пробьется. Тоже, наверно, сухари собирают. Пожалуй, на луне слышно, как хозяйничает в эфире нетерпеливая Гутька:

— Я «Заря», я «Заря»! База, ты слышишь меня? Я «Заря»! Где ваши вертолеты? Запрягайте хоть козу-дерезу, но шлите помощь.

«Разве доберешься по такой погоде? Пустое». Дыгай поежился, постучал заколдованными ногами — холодно, не высидеть в кабине. Посмотрел на щелеватые стекла, на закуржавевшие дощечки и неуклюже вылез из кабины. Потоптался, стараясь согреться, но одеревеневшие ноги почти не гнулись, и он опустился на подножку.

— Вот тебе и коза-дереза...

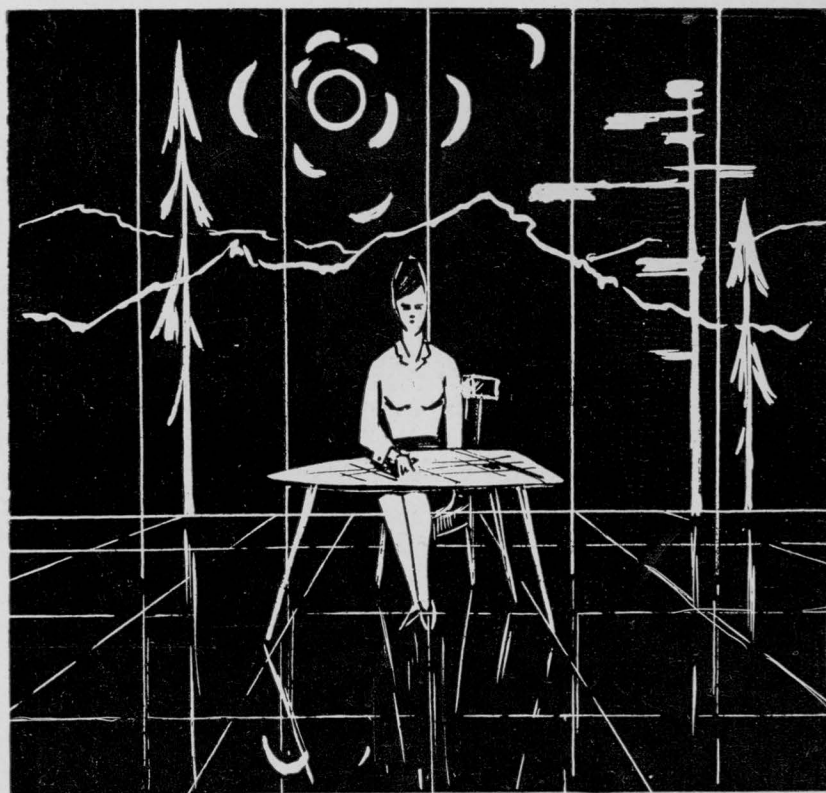
Прижался к горбатому крылу, поднял волосатый воротник, пахнувший овечьим потом. Перед глазами вдруг всплыло: стоит он с поднятым топором, ждет — неужели обвал? А мимо черным клубком промелькнула коза. Федор встряхнулся, на обреченном лице засветилась улыбка: «Сейчас лютень, на костре у меня зашипит мясо и ты поймешь: не так-то просто побороть Федьку Дыгая». Он сунул руку в карман — нож лежал на месте. «Ну, дело за немногим». Взял лопату.

Снежная заверть приутихла. Федор осмотрелся: на отвесном берегу, там, где он пытался запастись дровами, — ни кустика, ни тра-

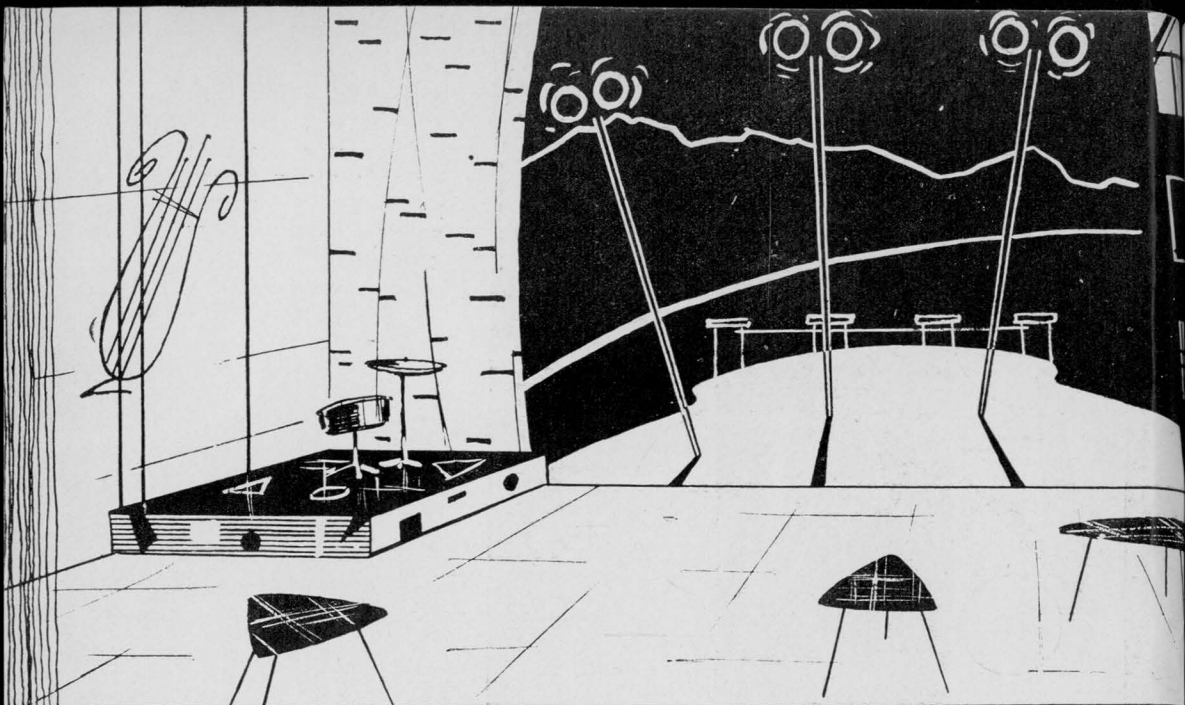


Г. ЕФРЕМОВ. ЭСКИЗ
ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОЙ ПЕРЕ-
ДАЧИ «ЛЮБИТЕЛЯМ
ПОЭЗИИ». СТИХИ
А. ВОЗНЕСЕНСКОГО

ЯКУТСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. А. С. ПУШКИНА

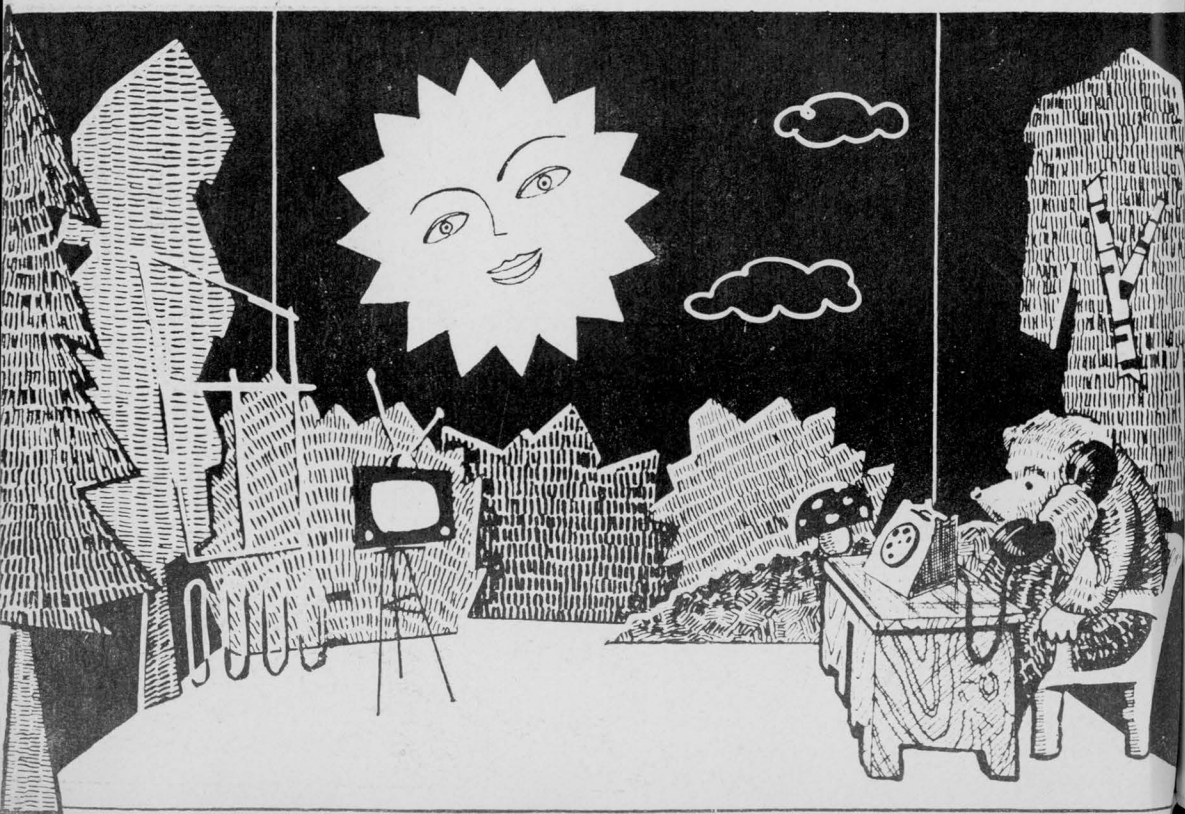


Г. ЕФРЕМОВ. ЭСКИЗ
ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЛЕ-
ВИЗИОННОЙ ПЕРЕ-
ДАЧИ. АБАКАНСКАЯ
СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ



Г. ЕФРЕМОВ. ФРАГМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
«СУББОТНИЕ ВСТРЕЧИ»

Г. ЕФРЕМОВ. ЭСКИЗ ОФОРМЛЕНИЯ
ПЕРВОЙ СЦЕНЫ СПЕКТАКЛЯ «НЕ-
ПРИЯТНОСТИ ПРОФ. ТОПТЫГИНА».
КЕМЕРОВСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЯ



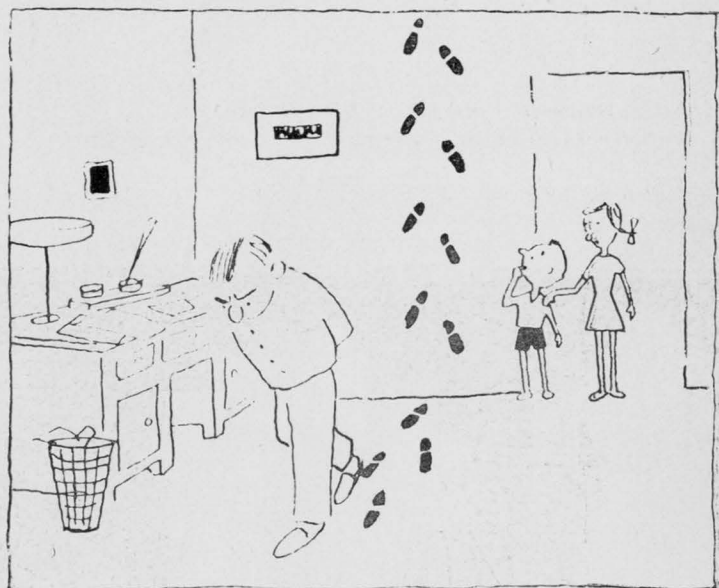
О ТОМ, КТО НОМЕР ОФОРМЛЯЛ

Матросы смеялись, смеялись так, как умеют только моряки, — содрогались переборки. Виновники смеха — лист ватмана и паренек в чуть сдвинутой на бок бескозырке... Вышел свежий номер корабельной сатирической стенной газеты, художник которой — Герман Ефремов...

Позже, уже во флотских газетах и журнале «Советский моряк», — юмористические рисунки, много позже он станет профессиональным художником и оформит номер альманаха «Огни Кузбасса», который вы сейчас держите в руках.

Пожалуй, рано говорить о Ефремове, как о сложившемся мастере. Пока его работы — это поиск формы, поиск своей темы. Десятки тысяч телезрителей Кузбасса видят на экранах своих телевизоров титры, заставки, выполненные рукой молодого художника, вместе с героями телефестивалей входят в дом, стены которого задуманы за рабочим столом Германа Ефремова...

Художник-постановщик студии телевидения Герман Александрович Ефремов значительную часть своего труда посвящает очень трудной и сложной работе художественного оформления книг, выпускаемых Кемеровским книжным издательством, которое, кстати, готовит к печати первую книжку изюшток и карикатур художника.



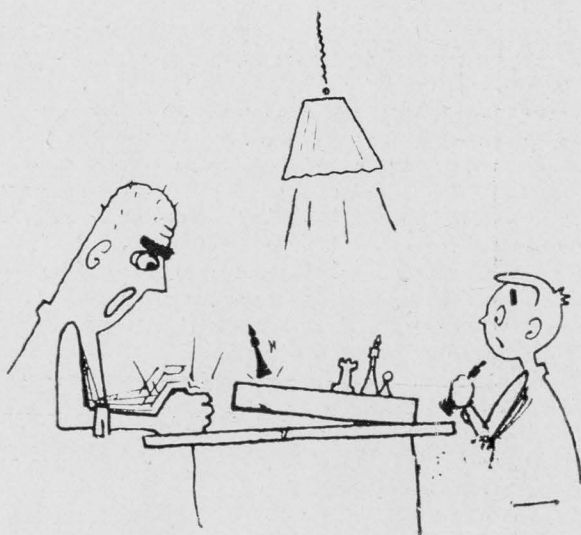
— ТИШЕ, ПАПА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
РОМАН ПИШЕТ...



БЕЗ СЛОВ..



УКАЧАЛО



— А НУ-КА ПОКАЖИ ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК!...

винки. Только над редкими уступами осиротело дрожали на ветру ветвистые корни. Словно побрили и пригладили кручу. А в десяти—пятнадцати метрах от машины возвышалась снежная гора. Глядя на нее, Федор оторопел: «Страсть-то какая! И не пришибло, уцелел...»

Он не верил и не хотел верить в то, что произошло. Отвернулся, тупо посмотрел на лопату: «Куда я пошел? Зачем? Ах, да! Коза...»

Подняв штыковку, Федор с силой опустил ее. Сделал шаг вперед — и снова. Он шел и шел так. Если лопата натывалась на что-то, с радостью и слепой надеждой принимался разрывать снег. Но ему попадались хвойные стлелые лапы, камни да комья глины. Обманувшись несколько раз, он стал задумываться: а стоит ли искать? И все-таки искал.

Когда уже совсем стемнело, он вернулся к машине. Злой, обледевший. Постоял, опершись на лопату. Перед ним в кузове, как огромные ржаные калачи, лежали скаты. Сколько их тут? Много. Жги, Федор, и грейся. Не замерзает же. Он воткнул штыковку и пошел к кузову. Не любил Федор долго уговаривать себя. Опустил борта, прикинул по-хозяйски — с какого же края лучше начать? Решил: «Вот отсюда, с угла». И ухватился за самый верхний круг. Но скат не подался. Точно понял свою судьбу и прирос намертво. «Ты еще... ерепениться будешь!» — выругался Федор. Черенком лопаты он сковырнул скат. Откатив его в подветренную сторону, обмакнул ветошку в бензин, приткнул сбоку. Сложив руки лодочкой, чиркнул спичку — заурчал огонек, запахло гарью. Голодно лизнул синим языком новехонькие, в елочку, рубцы ската. Лизнул еще — хорошо! И присосался к ним, как молодое теля к матке. Резина зашипела, растопившись, уронила в снег черную слезу. Шофер не выдержал, отвернулся...

«Дернул же меня черт поехать! А все Василь Матвейч...»

...За ночь машины промерзли основательно. И еще задолго до рассвета на стоянке машин загорались костры — шоферы начинали греть моторы. В восемь, за час до выхода на линию, в диспетчерской раздавался телефонный звонок. Начальник мехколонны уточнял данные:

— Значит, пятнадцать машин выходит?

— Пятнадцать, Василь Матвейч, — отвечал диспетчер. И думал: «Откуда все-таки он узнает? Что у него за механизация? Ведь чувствуется: мужик только из постели...»

В тот день на линию готовилось восемь машин. Восемь из тридцати пяти! И Василь Матвейч начал свой разговор с разноса:

— Передайте механику: пусть немедленно соберет водителей. Я буду минут через пять. Работнички...

Шоферы давно в сборе. Что им делать? Колеса у машин изнашивались — куда на рвани поедешь? И сидят вдоль стен диспетчерской, растопырив ноги. Курят, гогочут. Один расскажет хорошо, другой еще лучше. И не то от дыма, не то от хохота слезятся глаза.

И вдруг растворяется дверь — начальник колонны! Провалиться бы лучше где-нибудь, чем встречаться с ним.

— Так что? Сидим, значит? — Пальцы правой руки пробежались по пуговицам. Как по клавишам. Повел грудью — полы распахнулись.

Тишина.

— Зимы испугались?

А сам хлещет глазами: туда-сюда.

— Резины же нет, Матвейч...

Будто не слышит. Жмет свое:

— Карл Маркс о пользе труда говорил, Владимир Ильич — говорил. Я, сукины дети, каждый день твержу вам об этом, а что же получается?..

На груди — гвардейский значок. С ним он никогда не расстается.
— Василь Матвеев, поймите...
— Да, трудно с колесами, знаю. Ставьте протекторы, из двух машин снаряжайте одну. Но сидеть... Простите!..

Федор крикнул:

— А работать... вчетвером на одной машине?

И прикусил язык — чего это я?

— Стройка комсомольская, ударная. Рудник, от которого мы ведем дорогу, почти готов. Новый завод, к которому ведем дорогу, скоро запросит руду. Как подать ее? Да я бы, знаете, до ЦК дошел!

И, как стежком, полоснул Федьку взглядом. Аж дух заняло.

— А кого вы в вожаки избрали? Спросите: что он сделал? Что он может? Блатные песенки петь?..

Во критика!

...Как после всего этого было не поехать? Конечно, не в ЦК, есть ведь обком комсомола. И вот после всех мытарств — на тебе...

— Черт, знает, как задеть за живое, — проворчал Федор и, изогнувшись, толкнул ногой колесо. Оно зашипело, забурившись в снег. Огонь потух. Густая гудящая тьма поглотила его. Федор поежился: жутко. Даже небо черное, зловещее. Ни одной звездочки. «Лучше бы снег шел». Он стянул с пимов бахилы и снова зажег спичку. Справа, на лысом колесе Захара, затрепетали светлячки. Федор посмотрел на них, прищурился, о чем-то думая, и вдруг улыбнулся. Скупое, одними глазами.

— Их что ли в расход пустить? — спросил он у Захара. И добавил: — Все равно ведь отходили свое...

Поднявшись, он разгреб под радиатором снег, принес из кабины домкрат, поставил под ось и защелкнул ручкой, приподымая перед машины. Управившись с этим, начал откручивать гайки с колеса. Федор спешил. Никогда за всю свою жизнь, если не считать наводнения, он не работал так споро. Изредка, смахнув со лба пот, успокаивал себя: «Эти отработали. Эти не сегодня, так завтра на отвал пойдут. Их можно...»

Скоро возле машины уже полыхал костер и окутывал Федора густым едучим дымом. Он отмахивался от дыма и тихо напевал:

Всю-то ночь на гавайской гитаре
Жег ей сердце га-ря-чей ру-кой.
Ма-ла-дой привлекательный па-ринь,
Паринь в кеп-ке и зуб за-ла-той.

5

Теплота разлилась по телу. Шея обмякла. Голова ткнулась в коленку, потом в другую, и сник Федор. «Немножко, совсем чуточку сосну...»

...Подбегает Грунька, босая и какая-то воздушная. Закидывает за плечо тяжелую косу:

— Федя, дружок мой!

— Кержак дружок тебе. Иди к нему...

Грунька всплескивает руками:

— Это ж когда было! Федя, что с тобой? Да ты не спи. У нас же сын. Ты что, забыл?

И правда. Вот он, Мишанька, рядом стоит. Большущий уже. В

школьной форме. Гимнастерка ремнем опоясана, на голове фуражка, как у милиционера. С широким околышем фуражка. Мишанька протягивает ему завернутый в газетку дневник:

— Распишись, пап...

И улыбается — одни пятерки в дневнике.

Дыгай вытягивает руки, хочет обнять жену и сына, но что-то горячее обжигает их, и он стонет от боли.

Очнулся — держит руки над костром. «Так ведь и обгореть недолго». Спрятал их в карманы полушубка, потряс головой, стараясь отогнать сон. Но разве отгонишь его? Вдохнул: «Тяжело сегодня... Вторая ночь пошла. Чего там наши?».

Федор взял ключи и побрел откручивать гайки со следующего колеса.

...Когда начало светлеть, Федор стянул последний баллон. Долго кряхтел над ним, пытаясь поднять, но всякий раз ветер валил его с ног. Обессилев, Федор махнул рукой: «Ладно, пусть полежит пока». Пошел к костру. «Пожевать бы чего-нибудь, тогда бы можно еще потягаться». Опустился возле дымящегося ската.

...Из-за сопки поднимается солнце. Такое, как в детских книжках рисуют: глаза приветливые, лучи, как лепестки мака, — широкие, алые. И слышит Федор: кто-то ходит вокруг него. Поднять бы голову, посмотреть, но он ошалел от тишины, от солнца, от радости, что остался жив. А шаги все ближе и ближе. И снег скрипит теперь настоящей. Точно странный гость хочет сказать: ну встань же, посмотри!

Федор приподнимает голову, смотрит: волчина! Топчется нетерпеливо. Наверно, тоже проголодался и тоже ищет козу. Густой удушливый дым не по душе волку: отступил, фыркает сердито.

— Иди, братец, бери меня, — говорит Федор. — Четвертый год ищу тебя, но вы почему-то не живете в тайге. А у меня в путевке в комсомольской написано, что Московский горком комсомола направляет тов. Дыгая Федора Игнатьевича в Сибирь на шницели волку. Вот и бери...

Волк смотрит — знает серый: коварней человека ничего нет на свете — и в глазах застыла голодная тоска.

— Может, жребий кинем, а? Решим полюбовно, кто кому достанется.

Федор хотел было метнуть монетку, но опять помешала Грунька. Кинулась к нему, с криком:

— Не смей, Федор! Слышишь?

Как не слышать? Бабу за три километра услышишь. Вдохнул протяжно: всегда они вступают в мужские дела! И шепнул волку на ухо: «Беги, малый. Теперь тебе не прорежет...».

А Грунька приводит Федора домой, ластится. Истосковалась, видать.

— Ох, как ты зарос!

Федор смотрит в окошко. Внизу, как цыганский табор, светится кострами стоянка машин. Федор считает костры — двенадцать. Значит, двенадцать машин готовятся на линию. И понял вдруг, что разгадал тайну Василь Матвеича. Улыбнулся: «Ничего, теперь обуем машины. Не все, но... За шумит колонна. Все-таки немало привез...»

Решил позвонить начальнику. Покрутил ручку телефона, снял трубку.

— Алло, алло!

— Ну чего кричите? Ведь предупредил: не тарабаньте, не кричите. Нет продуктов, кончились. Сам вот... картошку на солидоле жарю.

— Не узнаете, Василь Матвейч?

— Федор?! Жив, значит?..

— И скаты привез...

— Ну-у?..

— Машину с верхом. Чтоб не растерять, проволокой связали.

Сопит старик, замешкался с ответом.

— Ты... забудь, Федька, что я говорил тебе. Насчет песен твоих, помнишь? Пошутковал малость, бывает... Леший с тобой, нравятся — ори на здоровье...

Федор, улыбаясь, кладет трубку, идет к печи. Полыхают березовые поленья. Потрескивая, извивается и плавится береста. Федор стягивает полушубок, залезает наверх. Хороша русская печь! Только вот жжет сильно. Нестерпимо жжет.

Он поднимается, зовет:

— Груня? Грунь, постелить бы чего...

— Ву-у! — протяжно отзывается ветер.

Очнулся Федор — «горю ведь!» Вскочил, захлопал ладонями по полам куртки. Да разве потушишь, если весь почти взялся огнем? Упал в сугроб, повернулся несколько раз с боку на бок. «А где же шуба у меня?» Встал, растерянно взглянул на костер. Повиснув на скате, шуба лежала уже почерневшая, бездымная. Схватил, она с хрустом, точно молодой ледок, рассыпалась на кусочки. Только в горстях осталась колючая зола.

— Эх, Пном-Пень — столица Камбоджи!..

Федор поднес тяжелые набрякшие руки к лицу и еще не успел толком разжать их, как ветер слизнул пепел...

Точно на похоронах, Федор снял с головы фуражку. Посмотрел на нее пустым взглядом и резко швырнул в костер, возле которого лежали, словно отрубленные, два рукава от полушубка.

— Н-на, жри заодно!

Он отвернулся, прошел к машине и сел на подножку. Повалил густой снег. Ветер закружил его. Казалось, перед Федором извиваются чьи-то густые седые волосы. Облизав грязные потрескавшиеся губы, он подумал: «Где же слезы-то? Заплакать бы, что ли?..»

Пахло шмальнойю. И Федор закричал:

— Могилой завоняло... Все теперь.

6

Где-то читал Федор, что жизнь — громадная шахматная доска. И порой совсем неважно, какое у тебя положение. Побеждают на ней лишь сильные духом. «А какой дух тут нужен? — повернулся к кузову машины. — Может, сжечь скаты? Вон сколько их! — махнул разочарованно: — Теперь и это не поможет...»

А холод уже подобрался к ушам. Сначала ущипнул робко, будто примеривался, потом осмелел и начал колоть их своими иглами-невидимками. Федор потерял уши. «Неужели все?..»

Который раз уже задает он этот вопрос. «Нет, не все еще, — ответил ему плаксивый голос. Его страх, что ли. — Разводи круговой костер. Скатов хватит. Для Союза — это крупица. Ну посидят еще парни, а все равно пришлют. Дело такое, стройку без колес не оставят...»

И почему-то Федор вспомнил вдруг Игната Черняка, самого пожилого шофера мехколонны.

...Получали деньги. В коридорчике конторки было тесно и шумно. Шоферы, ожидая своей очереди, донимали Махонина.

— Ну, Паша, расскажи: чего привез нам?

Паша, не чувствуя подвоха, охотно рассказывал:

— Спирту — навалом. Особая есть...

— Что-то все крепкое. Подозрительно...

— Он же винам бойкот объявил — плохо греют.

— И деду-морозу ни за что ни про что надо десять градусов кидать. А за взятки сейчас сурово.

— Ну вы, цыплята! Зарядили...

— Что еще есть, дядь Паш?

— Пустышки для молокососов. Погремушки...

— О-о!

Из конторки вышел Игнат Черняк. Он, как слепой, вытянул вперед руку и пошел так, никого не замечая. На черной от мазута ладони лежали две тройки.

— Игнат Семенович!

Не отозвался. Федор тряхнул его за плечо.

— Брось ты, слушай, убиваться так!

Черняк посмотрел на него, но промолчал. Только на сухом морщинистом лице мелькнуло подобие улыбки.

— Скоро получим колеса и...

— Эх, Федька! Дитю ведь не объяснишь: колеса, мол, на машине впрах сносились. Дитю ись подай. А у меня их семь душ...

Шоферы скинулись по рублю.

— Бери, старина.

Но Игнат запротестовал:

— Не, что вы! Если б я один так получил...

— Мы — холостые. Перебьемся.

— Эх, скаты-перекаты! Мать их за ногу!...

...Федор отвернулся от скатов, схватил нечуткими, уже чужими руками лопату и принялся швырять снег. Туда-сюда. Бери, ветер, и гони его! Хотел работой согреться Федор, да понял: силы, как и горячее в баке Захара, тоже сторают. Отбросил лопату, ткнулся вперед машины, точно хотел обнять его. Тело дрогнуло, выжало короткий режущий всхлип...

Успокоившись, Федор почувствовал — руки его сжимают что-то мягкое. И чуть не закричал от радости — чехол!! Почти не развязывая шнурки, сорвал простроченный, как теплое одеяло, чехол и, отряхнув от снега, завернулся в него, словно в бурку. Повел плечами — ничего вроде. И сказал:

— Живем теперь, Захарка. Живем...

Присел к костру. Издали порывом ветра донесло протяжный крик: «О-о-о!» Насторожился. Звук то удалялся и замирал, то вдруг оказывался совсем рядом — О-о-о! «Неужели бредится!» — испугался Федор. И посмотрел на костер так, словно затихающие бледные языки пламени могли натолкнуть его на какое-то спасительное решение. Но костер чадил и шипел равнодушно.

Между тем крик сменился резким отрывистым лаем. Казалось, собака стояла за его спиной и только густой снег мешал ее рассмотреть. Федор прижал лицо к корявым холодным ладоням — как избавиться от всего этого? По книгам знал: в пустынях путнику, особенно когда его мучит жажда, чер-те что кажется. Но тут-то не пустыня. А может, это кержак идет? Может, одумался и... Точно, кержак...

Послышался, мягкий скользящий скрип снега, надсадное сопенье.

Федор поднял голову — перед ним, задрав морду, лежала большая серая собака; поодаль, опершись на лыжные палки, стояла женщина, наглухо закутанная платком. «Грунька!!» — чуть было не подскочил он, но горячую радость захлестнула обида. Он сказал с укором:

— Ну что же вы?..

И повел глазами вокруг себя — посмотри, мол. Кержачка ослабила тугой узел платка, перетянувшего шею. Вдохнула. Отставив палки, сняла широкие обойные лыжи.

— А еще молитесь...

Федор не замечал: накидка, единственная его защита от холода, съехала с плеч и держалась бог весть на чем.

Грунька, склонив голову, молча прошла к костру. По тому, как она шла, можно было подумать, что кержачка устала и измучилась больше, чем Федор за двое суток мытарства. Присела на корточки возле обгорелого дыгаевского рукава, робко дотронулась до него и прошептала:

— Жив и ладно...

Костер догорал. Бледные хилые языки, чуть поднявшись, тут же замирали. Она взяла головню и перенесла ее к последнему лысому скату. Федор смотрел на Груньку неотрывно и, как тогда, около изгороди, подумал: «Почему она прячет глаз?».

— Иди поешь, — сказала Грунька. Сказала мягко и в то же время требовательно, совсем по-домашнему. На цветастый платок положила большой зажаристый кусок мяса, белый витой калач, солдатскую баклажку и поставила бутылку молока. Федор смотрел на все это глазами волка, что приходил к нему ночью во сне. И ему стало дурно до тошноты от головокружения, от сознания того, что, наверное, не так он должен был встретить эту женщину.

Грунька улыбнулась:

— Ну. Остынет обед...

Она снова присела возле костра. К ней подползла собака, легла у ног. Дыгай тоже не заставил долго ждать себя. Опустился возле снеди на колени и растерялся — за что же взяться? Грунька, наблюдавшая за ним, подсказала:

— В баклажке — крепач...

Федор посмотрел на нее с благодарностью. Быстро отвинтил пробку и запрокинул голову — зажурчав, хваткая влага обожгла горло, прочертила внутри горячий след. Он крикнул, собака, не поняв его восторга, с ворчаньем прижала уши.

— Ух, хорошо!

Грунька вздохнула, как будто усомнилась — так ли уж хорошо? И спросила:

— Федор, а что... если б я захотела устроиться к вам в мехколонну? Приняли бы? — голос ее был прерывистый, задумчивый и даже печальный. Казалось, она спрашивала о чем-то таком, что никогда не может свершиться. По крайней мере для нее. Федор теребил крепкими зубами жесткое медвежье мясо. Вместо ответа, метнул в ее сторону недоверчивый взгляд.

Грунька упрямо повторила:

— А если б захотела? Приняли?

Федор, давась мясом, прохрипел:

— Конечно... Отметчицей...

Если бы она спросила об этом не сейчас и не здесь. Дома, например, во время потопа, когда они ехали вместе в лодке. Или в другое время. Он, Федор, ухватился бы за эти слова. От него бы просто так

не отделался. А сейчас голод вдруг поборол в нем все желания: и понимать, и говорить, и чувствовать.

— Сколько я смогу заработать?

— Рублей девяносто. С колесными...

— Ой, долго! — думая о чем-то своем, воскликнула она и так посмотрела на Федора, будто хотела сказать: «Ну поспрошай, с кем я могу еще поделиться своими мыслями?» Но и на этот раз Федор не почувствовал ее трепетного зова. Смачно чавкал, пережевывая хорошо приготовленное мясо, запивал молоком и лишь изредка бросал на нее мимолетные взгляды.

— Вы много-то не ешьте — помереть можно. Дело такое, пожайнине — колики замучают, а врачей тут нет, — сказала она с досадой. Наклонилась к собаке: — Что, Амур? Пошли домой...

Федор почувствовал — произошло что-то неладное. Может, даже непоправимое. За какой-то миг обострившаяся память воспроизвела ему их разговор. Но свои старые ответы Федор заменял теперь новыми.

«А если бы захотела? Приняли?»

«О боже! Да хочешь, я тебя сейчас стажером возьму? Ну, соглашайся. Ты не смотри, что у меня машина-развалюха. Это мне дали для обкома. Показать там: вот, мол, на какой рухляди мы дорогу строим. И все получилось удачно: нам пообещали пятнадцать новеньких зиллов. Соглашайся, а то могу раздумать...»

«Сколько же смогу я заработать?»

«Первое время, конечно, немного. Рублей девяносто. Ну, а потом... Потом ты будешь получать дай бог каждому столько. В хорошие месяцы у меня выходит до трех с половиной сотен. Вот как...»

«Ой, долго!..»

«Что долго? А? Тебе нужны деньги? Но зачем? Начала, так будь добра, договаривай...»

Федор вскинул голову — Грунька собиралась в дорогу. Она словно постарела. Ссутулилась, плечи как-то неестественно обвисли, всегда такие подвижные бойкие руки едва шевелились. Она поправила телогрейку. Из-под платка выбилась прядь волос, мешала смотреть ей. Забывшись, она развязала платок, подобрала волосы. Федор, увидев левую часть лица ее, ахнул: «Пном-Пень — столица Камбоджи!» Почти во всю щеку кержачки расплылся багрово-сизый синяк. Глаз ее почти не открывался. Федор представил, какая буря была там, в ерофеевском доме, и ему стало не по себе: «Из-за меня ведь...» Горячая жалость захлестнула его.

— Грунь, прости...

Встал, шагнул к ней.

— Слышишь?

Грунька молчала. Федор положил ей на плечи руки и внимательно посмотрел в лицо. Оно до того было сосредоточенным, что он испугался — что с ней?..

— Грунь!..

Прижал ее к груди. Чуть запрокинув голову, приник к губам. Они были холодные, влажные и нервно вздрагивали. Казалось, она плакала. Федор прошептал:

— Не пущу я тебя. Не пущу — вот и все...

Рядом взрыкнула собака. Привстав на передние лапы, напрягла острые чуткие уши. Федор отпрянул в сторону. Грунька, улыбнувшись, положила ей руку на загривок, потрепала ласково, но собака метнулась вперед, мимо обомлевшего Федора, и скрылась за машиной.

— Ффу ты! — вздохнул Федор. — Не собака — корова целая...

Он прошел к машине, взял из кабины сиденье и положил возле костра. Кивнул Груньке:

— Венских стульев пока нет, но...

Грунька села, рассмеялась, как будто только сейчас увидела Федора: скуластое щетинистое лицо его было черным-черно. Вынула из кармана носовой платок, смочила самогоном из баклажки и протянула Федору:

— Утрись, лица-то нет у тебя...

Федор мазнул платком, глянул на него — голыня сажа. Замотал головой — скажи, как устряпался! Схватил горсть снега, растер по лицу. Капли, падая вниз, расплывались, точно чернила по тетради, круглыми игольчатыми кляксами. Утеревшись, Федор спросил:

— Как теперь?

— Для такой одежды — терпимо...

Он сел напротив Груньки, хотя дым задувал в глаза. Вид, конечно, никудышный, но что поделаешь? Спросил, заикаясь:

— Как ты пошла за него?

— Так и пошла, — резко ответила она. И навалилась грудью на колени, обхватила их руками. Казалось, она хотела сжаться в комочек и запрятать внутри все свои невеселые мысли. И сколько ни ждал Федор, она молчала, слабо покачивая головой из стороны в сторону. Молчал и Федор: не любил он ковырять чужую больную душу.

Над ними нудно завывал ветер, словно оплакивал их здесь, у слабого костра, со всеми их думами. «Сколько ни бейся ты, Федор, а не минуешь крышки. И ты, Аграфена, как ни крутись ни мечись, один конец у тебя — дорожка в усадьбу лесника-кержака. У каждого есть своя доля, и никак не обойдешь ее, не объедешь».

Из-за машины выскочила собака. В зубах она держала козленка. Козленок рвался, дрожал, жалобно и длинно бекал. Грунька встрепенулась, точно мучили ее дитя, закричала низким хриплым голосом:

— Пусти! Немедля пусти!..

Глаза ее горели гневно. Словно продолжая давно начатый разговор, она сказала:

— Из парней-то в нашем совхозе был один Сеня Мозоль. Помешанный. Потому и прозвали мозолем, что надоедал всем. Из мужиков, правда, еще двое холостых было: отец мой да Игнат Черняк. У каждого по куче ребятишек. Меня тогда назначили продавцом в лавку. Не училась, не работала сроду и, конечно, наторговалась. Да и сама виновата: прибегут наши ребятишки — одному конфетку, другому пряник. В день по несколько раз. За год насчитали на меня девятьсот тридцать рублей. А где их возьмешь? Вот и запела песню, заметалась...

Она замолчала. Федор поставил козленка на ноги, подтолкнул — беги, мол, пострел этакий. Поджав ногу, — наверно, она была ушиблена, — козленок запрыгал на трех. Снег был глубокий и силы, видать, тоже измотаны, и после нескольких шагов он беспомощно ткнулся грудью в сугроб. Закричал тоненько, жалобно.

Грунька вздохнула:

— Куда ему теперь! Изломана жизнь...

— Ничего, — сказал Федор. — Вот заберем его, выходим и хозяйство будет у нас. Такой еще козел вырастет — ой-ё-ёй! — Он плотнее запахнул свою «кавалерийскую» накидку и пытливо посмотрел на Груньку. Она почему-то отвернулась. Помолчав, встала. Взмолунованно мотнула головой:

— Не, Федор... нет...

— Т-ты... серьезно?

Она нервно перебирала пальцы. Дыхание ее было частое, прерывистое, будто она запалилась.

— Выходит... продалась я, Федор. И... не держи меня.

— Зачем так, Груньк? Ведь неправда...

Она торопливо надела лыжи, махнула рукой:

— Прощай.

Побежала, отталкиваясь палками. Ветер подгонял ее. И скоро они с собакой растаяли в белесой мути. «А почему побежала в ту сторону?», — вдруг опомнился Федор. Вскочил, закричал, подставив руки ко рту:

— Грунька-а!

Подождал, нет ответа. Упругий ветер кружил и гнал снег. Где-то там, впереди, как в пропасть, канула Грунька. «Да тысячу рублей выбросили бы ему. Пусть бы подавился. Кержак проклятый...»

Снова крикнул:

— Гру-унька-а!!

В голос с ним прокричал козленок. И на этот раз им не отозвались. «Может, к отцу побежала?» Федор склонил голову — перед ним была глубокая лыжня, буран пытался покрыть ее снегом и не мог. У затаившего костра трепыхался платок. Снег запорошил баклажку, хлеб, бутылку с молоком. «А я, кажется, и спасибо не сказал», — подумал Федор и потянулся за баклажкой.

7

Даже без топора можно было обзавестись дровами. Снять борта и развести костер. Но тепло теперь самый первый враг: разморит, убаюкает и — насовсем. Федор принялся «обувать» своего Захара. Сбросил из кузова пять скатов. Один, чуть подгорелый, лежал внизу. Итого — шесть. На каждую сторону по три ската. Он взялся их растаскивать — тяжелые, не подыметь. А сидеть нельзя: глаза сразу закрываются. Как-то надо поднять. Поднимал же их в гараже. Натужился: черт, в гараже они, кажется, легче были! Все-таки поднял, но лишь только покатил, скат снова упал. Может, волоком лучше? Попробовал волоком — не лучше, не надежней.

У Федора был добротный нож. Еще в сорок пятом привез его брат из Германии. И вот уже столько лет он служит ему дома и в дороге. Ножом Федор прорезал в чехле две дыры, прикрутил к ним проволокой рукава от полушубка. Теперь на нем была уже не накидка, которую постоянно надо было придерживать рукой, а вполне приличная лопатина. Он подпоясался брючным ремнем — совсем, как кучер. Попробуй проморозь теперь!

Положив скат, Федор начал прилаживать диск. Заправлял один край, выпирало другой. Самая нудная работа. За нее и в гараже-то никто не брался в одиночку, а тут где возьмешь помощника? И все-таки с грехом пополам Федор смонтировал колесо. Принялся накачивать его. У ЗИЛа-157 не надо было вот так жать на ручку насоса и тянуть ее. Там колеса сами накачиваются. Пусти воздух и... Конечно, ЗИЛ-157 — не Захар. На нем он наверняка не застрял бы в этом проклятом ущелье. «Ты, Гриша Арачев, прости меня. Но место твое на самом деле проклятое».

Колесо раздулось, потяжелело. Теперь как-то бы посадить его на барабан. Федор присел, уперся в него плечом — не тут-то было. Чуть-чуть бы еще повыше. И так и этак примеривался он — не слушалось

колесо. И Федор рассердился. «Да что ты..!», — выругался он и рванул его со всей силы — колесо встало на место. «Ну и хорошо. Давно бы».

Федор побрел за следующим. Этот почему-то сопротивлялся упорней. А третий, как свинцом налился, словно задался целью: попробуй вот сдвинь меня. Но чем больше они сопротивлялись, тем упорнее становился Федор. Откуда и силы брались. Собственно, это уже был не Федор — сгусток воли, человеческого упрямства и безрассудного отчаяния.

...Когда пришла помощь, три мощных трактора, он закручивал гайки. Провернув несколько раз, нажимал монтажку ногой и причмокивал сухими потрескавшимися губами — готово. И надевал ключ на другую гайку. Он не видел и не слышал, как подошли к нему люди. Что-то объяснили ему, он, отвернувшись, продолжал орудовать ключом и монтажкой. Они попытались отобрать их, но никто не смог разжать затвердевшие намертво пальцы Федора. Тогда его, как капризного ребенка, силой засадили в кабину трактора.

Скоро Федора укачало. Ему казалось, что откуда-то валил густой въедливый дым. От костра или паровоза? Конечно, от паровоза. Грунька сидела вроде бы рядом с ним и нет ее. Только в памяти да в сердце остались воспоминания и боль, словно оторвали и скомкали у него самого кусочек жизни. И скатов нет. Одна разлетная дорога перед глазами. Мчится по таежной глухомани поезд, будит ее стуком, свистом, светом. Спугивает с насиженного места кержака Ерофея Мошкина. Срывается он и бежит по шпалам.

— Верни мне Грушку!

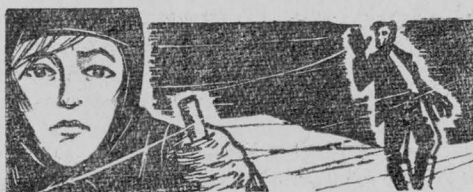
Федор смеется — чего захотел!..

Ослепленный, точно заяц, кержак не может свернуть ни вправо, ни влево, и поезд с грохотом подминает его.

«Так тебе и надо, бородатая сволочь», — думает Федор.

Поезд бежит и бежит. Везет он Федора на новую стройку. Там он снова врубается в таежную глухомань — не хочется ему, чтоб оставались где-то дикие места. Совсем они ни к чему нам.

...Даже во сне Дыгай ворочал рукой так, как будто закручивал гайки у Захара. Ключ постукивал по железной кабине трактора...



ШЕЛ СОЛДАТ...

Стояли мы на отдыхе в селе Белице Белгородского района Курской области. Шла весна, и жители были в заботе посадить и посеять в огородах. Работали главным образом женщины и дети. Мужчин гражданских почти не было видно, разве что инвалиды.

Солдаты наши с охотой помогали жителям: пахали, сеяли. Я тоже помогал, пахал землю под картошку. Пахал деревянной сохой, о которой до этого читал только в книжках. А лошадь была немецкая, трофейная.

Какое это для меня было удовольствие — ходить по борозде, дышать духом земным. Я уже до этого участвовал в боях на Воронежском фронте, был ранен в руку, вылез, снова воевал. Одним словом, порошу понюхал. И уж, сказать по-честному, думать позабыл, что придется мне по мирной борозде ходить, руки натруживать.

Но тут нас перевели в соседнее село. И случись такое, заболел я брюшным тифом. Положили меня в госпиталь. Сколько я там пролежал — не помню, потому что скрутило меня, память вышибло, без сознания был... Тяжело вспоминать это время, госпиталь этот, но что поделаешь — было...

Очнулся я, долго лежал, никто не подходит ко мне. А сумеречно так кругом, тихо. Стал я осматриваться, лежат кругом люди, молчат. Ничего не понимаю, спрашиваю громко: где я? Вдруг из дальнего угла слабый такой голос: а я где?

На носилках я лежал, скатился с них, пополз на голос. Ползу, и тут меня ровно бы обожгло: в мертвецкой я, в подвале, в холодильнике! Пополз к тому, что голос подавал, смотрю, он тоже на носилках и простыней привязан. Оба мы ослабевшие, едва дышим.

Ну, помаялись мы немного, развязал я его. Думаем, вставать надо. Встали мы, ноги дрожат, друг за друга держимся.

Наверху окошко маленькое, высоко. Наставили мы носилок, я залез, смотрю. Темно на дворе, часовой наш не遠далеке ходит, склад охраняет. Ударил я по стеклу, разбил. Часовой услышал, подбегает: кто там? А мы слабым голосом, отвечаем: живые мы тут, выручай, браток!

Он таращит на нас глаза, никак в толк взять не может — мертвецы мы ожившие, и все тут. А потом кричит: а ну к стенке отойдите!

Мы отошли. Он дал очередь из автомата по замку, разбил замок.

На выстрелы по тревоге набежали солдаты, взяли нас под руки, повели. Подвели нас к госпиталю, двери закрыты, стучали — не открывают нам. Тогда плюнули они, отвели нас в свою избу, поесть дали, самогонкой угостили. Разогрелись мы с товарищем моим немного, дождались утра.

Когда нас утром привезли в тифозный госпиталь, то мы у них по всем спискам были зачислены в число мертвецов. Коек нам не было, положили нас на полу. Пролежал я тогда еще три дня и выписали меня. Дали справку и комсомольский билет вернули — уцелел.

Вышел я на улицу. Куда идти сначала? Побрел в Белицу: как-никак я огороды пахал там, знакомые есть. Бреду по дороге, еле ноги переставляю, так меня и колышет.

Дошел до речушки, гляжу — моста нет, лежат одни только балки. Посмотрел я назад, вперед — нигде ни души. Вот, думаю, пришел в Белицу. Не пройти мне по балкам. Стоит мне с них упасть — и все, и домой мне не вернуться и вообще жизнь моя по-дурацки тут закружится: речушка грязная, топкая. А что, думаю, делать? Надо идти. Пошел я. Очень медленно пошел, голова кружится, коленка об коленку стучит, а я иду.

И прошел же. Прощел! Не поверите, когда ступил на другой берег, повернулся, пилотку снял и поклонился даже. Жив!

Передохнул малость и дальше. А ноги, как займы взял, не слушаются. Вот уже и избы первые, решил еще отдохнуть. На бугорок присел, ноги вниз спустил, чтобы вставать потом легче было. Посидел чуток, хочу встать, а не тут-то было. Скатился под горку и опять встать не могу, не слушаются ноги да и только: сил нету, выходит, окончательно. Как быть? А уже солнышко закатилось, темнеет.

И тут на мою удачу идет женщина. Стыдно мне, но я говорю: поднимите меня, пожалуйста! — А кто ты такой? — спрашивает. Я, говорю, старшина, здесь наша часть стояла, я огороды пахал, а сейчас из госпиталя.

Она подошла поближе, пригляделась да как вскрикнет: ой, это же Сашка Бормотов! Я, говорю, и есть. Тогда она подхватила меня под мышки, поставила, руку мою через плечо себе перебросила, обхватила другой, повела.

Повела она меня, и чувствую — не достают мои ноги земли. Она идет и всхлипывает, и причитает: Сашка, как же ты это? А у нас, где ты пахал, растет все. Ты помнишь, спрашивает, мой огород?

А сама все всхлипывает, словно братом я ей родным приходился.

А я: да, говорю, помню. Но только отпусти ты меня немного, я ногами не достаю. Она: разве я подняла тебя? Какой ты легонький, совсем исхудал, как пушок. Поставила меня на ноги: ну, стой не падай.

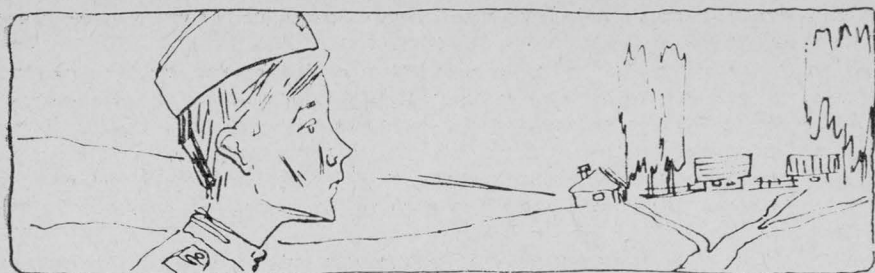
Идем помаленьку — она забудет-ся и снова меня подымет. Куда же я тебя дену, говорит. Я говорю: в избу к Варваре Ивановне Федотовой.

Завела она меня в дом к Варваре Ивановне. Добрая такая женщина, все сынком меня звала.

Прошло несколько минут, и тут

В декабре 1941 года рабочий золотого прииска Федотовки Александр Бормотов стал солдатом. Было ему тогда двадцать лет. Не сочтешь, не измеришь пройденных им за три с половиной года дорог — прямых и извилистых, трудных и просто непроходимых.

Без каких-либо претензий на обобщение, с добрым юмором рассказывает Александр Прокопьевич Бормотов — ныне работник совхоза «Уньгинский» — о некоторых случаях из своей фронтовой жизни.



вдруг набежали женщины, плачут, ровно над покойником. Спасибо, говорят, что помогли нам весной, выручили нас.

Наташили еды всякой, блинов, молока. Ну, и водки, конечно. Раздели меня, как маленького, да в корыто. Выкупали, накормили, напоили, и я уснул.

Утром проснулся, снова блины горячие, картошка. Словом, прожил я девять дней. Помаленьку поправляться стал. И как почувствовал себя крепко, собираться начал.

Женщины наложили мне полный вещмешок продуктов, попрощался я с ними, пошел. Та женщина, что встретила первой, за село провожала меня. Вещмешок мой несла. Потом остановилась, отдала мне мешок и говорит: спасибо тебе, наш роденький. Обняла меня, поцеловала и заплакала: ну, иди, я погляжу.

Шагнул, качает меня. А она говорит через слезы: смотри не упади, крепче держись, мешок тяжелый.

Отошел я немного, оглянулся, она стоит, слезы платком вытирает. И вроде никто она мне, чужая, а такая жалость по сердцу полоснула, будто не я это на передовую иду, а ее, эту женщину, на муки и смерть оставляю. Разбредила она мне душу, иду и тяжело так мне, недавнее прошлое вспоминаю.

Вспоминаю, как зимой севернее Воронежа я в наступлении участвовал, несколько населенных пунктов освобождал. Трудно нам было, ох, тяжело. Все было тяжело: смотреть, терпеть, мерзнуть, страдать от боли за нашу русскую землю, которая под сапогом гитлеровского солдата была.

Горели целые села, полыхали огнем. Жители — старики, старухи, малые дети — в погребах скитались, в подвалах. Как нам было тяжело смотреть на все это, солдатам и командирам.

Встречали нас со слезами: роденькие вы наши, выручили! И мы одним этим материнским словом согреты были в душе. Злость родилась в нас, злость и ненависть...

...И вот подхожу я к деревне, навстречу патруль. Остановили меня, объяснил им, откуда я, они показывают: вон, товарищ старшина, домик, идите туда.

Зашел я в ограду, за домом солдаты лежат, отдыхают. Вскочили, поприветствовали меня. Сбросил я свою ношу, захожу в избу. Смотрю — генерал. Доложил я как полагается, показал справку. Хорошо, говорит генерал, я вас направляю в танковую часть, в распоряжение подполковника Сухина. Вот ваш маршрут.

И показывает мне по карте. Идите, говорит, товарищ старшина, и построите на улице солдат.

Вышел я на крыльцо, кричу: слушай мою команду! В две шеренги становись! Смирно!

Тут генерал выходит. Доложил я ему честь по чести. Он говорит: по деревне идти строем!

Стало уже темнеть, по ржи тропинка сворачивает, лесок вдалеке. Правильно, значит, идем по маршруту. Приходим в лесок, неказистый такой лесок, весь просвечивает. Танк замаскированный стоит, а рядом — танкист-часовой. Спрашиваю, где находится командир 203-го тяжелого танкового полка подполковник Сухинин? Повел он нас по лесочку, идем, палатка стоит натянута, автоматчик рядом ходит. Стой! — кричит. — Кто такие?

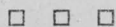
Объяснил я, из палатки голос раздается: пусть войдет старшина!

Влез я в палатку, темно там, вдруг лампочка зажглась от аккумулятора. На шинели подполковник лежит, грузный такой, пожилой уже, рука подвязана. Выслушал мой рапорт, переспросил, сколько нас, потом говорит: маловато, конечно, мне автоматчики вот как нужны. Ну, да что делать. Располагайтесь рядом с палаткой. Но чтоб мне строго, не курить...

Он поднял голову, помолчал, потом говорит: слышите?

А где-то над нами: гуд-гуд-гуд. Самолет, значит, немецкий идет. Издалека команду подают: воздух!

Так началась снова моя солдатская фронтовая служба.



Это было на Калининском фронте. Осень стояла хмурая, дождливая, болота кругом, шагу ступить нельзя. Как мы шли со своей техникой, вспоминать сейчас страшно.

Вот мчит нас поезд меж хвойного леса, шпалы прямо на воде лежат, насыпи и не видать вовсе. Справа и слева посмотришь: ну просто чудо создала природа. Сосна к сосне — красавицы, как на выданье смотрятся. Дождь перестал, воздух чистый, сосновый. Солдаты к дверям жмутся, красотой любуются.

Вдруг рокот самолета в воздухе. Глядим — истребитель немецкий «мессершмитт». Свалился откуда-то и прямо чуть верхом не сел на нашего коня. Ударил из пулемета — от паровоза только пар пошел, но ничего, бежит. Потом как на тормоз наляжет — заскрипело все, мы от толчка так пластом все и легли. А «мессер» вернулся, зашел с хвоста да через весь эшелон — очередь. Мы к стенкам прижались, стоим. С потолка только щепки полетели. Кто-то не выдержал, закричал: прыгай, братцы, прошьет! А лейтенант наш: отставить! Не было команды прыгать, запевай!

И вот утешит нас «мессер», сволочь, щепу из нас выколачивает, а мы поем: «Мы в бой поедem на тачанке и пулемет с собой возьмем!».

Наконец отстал немец. Проехали еще немного, остановился эшелон прямо в лесу. Ссадили нас, автоматчиков, а танки разгружать тут нельзя: воронки кругом, пристрелянное место. Эшелон дальше ушел.

Протопали несколько километров по лесу, привал. Устал я, просто с ног валюсь. Но ложиться не стал, а дай думаю, письмецо напишу. Из дому давно уже получил от девчонки, а ответа не давал. Она даже не знает, жив ли я. Вынул карандаш, а много написать и не придумаю. Один листочек только и нацарапал, да и то приветы одни. Попросил, чтобы передала родным, что, мол, написал он мне, жив солдат, значит.

А тут связной уже бежит, команда вперед идти. Дошли до места, расположились, ждем нового приказа.

А на следующий день поднялись, позавтракали плотно, небо пасмурное. Кто-то про баню разговор завел: мол, неплохо бы помыться с большой дороги, зачем время терять. Его поддержали — всем захотелось бани. Помпохоз доложил командиру. Тот дал разрешение. И началась тут у нас предбанная суматоха: бритвы готовим, мыло, белье. Так нам всем захотелось в горячем поплескаться.

Поставили бачки на кочки, костры под бачками разожгли. Да так ведем себя, будто дома мы, в сибирской тайге. И выкинули совсем, что мы на фронте, что передовая недалеко. Костры располыхались, раскопегарили мы их здорово.

И вот разделись мы, сложили одежду кучками. И только намылили головы — слышим, самолеты гудят.

Девятка немецких бомбардировщиков в стороне проходит. Воздух! — орут постовые. — Гасить костры!

Да поздно уже. Смотрим, поворачивают, заметили нас.

Мы с намыленными головами, оружие только схватили, и голые по кочкам, по кочкам, как зайцы. Разбежались кто куда, от бочек своих да от костров подальше, залегли.

И тут бомбы завизжали, посыпались. Три захода фашисты сделали. Все у нас к чертям разбомбили: и бачки, и тазы, и обмундирование. Словом, полный порядок у нас навели.

Собрались со всего лесу гслыши, поцарапанные, грязные — и смех, и грех. А тут вечер да и ночь наступает. А на дворе август, ночь холодная, ребята прыгают, «дрожжи продают», подшучивают друг над другом. Командир снял свою шинелку, отдал нам. Мы несколько человек под эту шинелку забились, один одного греем, а побасенки так и сыплются со всех сторон: не унывают ребята, хотя челюсть никак нельзя удержать, зубы чакают, того и гляди язык прикусишь.

Ох, какая та ночь длинная была! К утру холодом шибче потянуло, сыростью, дождь пошел. Заскулили ребятишки, не до веселья.

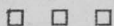
Начало светать. И тут наш помпохоз приехал, обмундирование привез. Мы все от радости дикую пляску устроили. Одели нас во все новенькое, с иголочки, приказали построиться.

Подъезжает полковник какой-то, танкист. Прошел перед строем и говорит: спасибо вам, товарищи солдаты, за выручку!

Вот тебе, думаем, раз! Мы, конечно, ответили как полагается, а сами плечами пожимаем: за что спасибо? За какую выручку?

Ну нам после разъяснили. Оказывается, что вышло? Самолеты-то те шли по заданию бомбить станцию. А там как раз разгрузка танков шла. Ну, а мы, выходит, своей баней фашистов отманили, отвлекли малость. Пока они нашу баню перекапывали, танкисты все машины с платформ скатили, рассредоточили.

А перед завтраком и полковниковой благодарности нам по стограммов каждому отпустили. Для согрева и для бодрости — хорошо!



К ночи подошли наши машины, погрузили нас, двинулись на передовую. Едем, и такая темень вокруг — руки своей не видеть. А вместо дороги — ямы да ухабы. Как говорят танкисты: качнет — небо видеть, еще качнет — землю видеть. Сидим на танках, уцепились за скобы, болтаемся, как поплавки.

Но вот и болтанке конец — приехали. Приехать-то приехали, а когда подтянулись все — одного танка след простыл. Послали группу

автоматчиков на розыски, вернулись те скоро ни с чем: где в этом дегте кого разыщешь?

Ну, заняли оборону, окопались. Ждем утра. А утром, едва развиднелось, ракеты зашипели. Из-за нашей спины катюши ударили, тяжелые орудия, танки стволы подняли, и таким гулом взялась земля, будто один непрерывный раскат грома. А немцы, видать, тоже наготове были, да в контры нам и ударили.

Я лежал за бугорком, ртом зевал да по сторонам поглядывал. С одной стороны — болотина, с другой — танк замаскированный. Рвануло тут рядом тяжелым, подняло в воздух меня, перекувырнуло несколько раз — так что я танк два раза увидел, и ногами в болотину бросило. Чуть не до пояса утонул.

Подбежали ко мне ребята, вытащили, а я челюсть не могу закрыть. Из рта кровь, из носу тоже. Ребята губами шевелят, а я кричу вгорячах: чего дразнитесь? Руками челюсть закрыл, сплюнул кровь, а челюсть сама открылась, ровно кто ее за веревочку тянет. Вот, думаю, не было занятия!

Увидел тут меня подполковник Сухинин, махнул рукой, мол, уведите его, и повели меня двое солдат под руки в полевой госпиталь — он тут недалеко был.

Привели, положили рядом с безногими. Полежал я немного, послушал, ну, говорю сам себе, здесь тебе делать нечего. Соскочил да ходу к своим танкам. А они уже в наступление идут.

Смотрю: вдалеке один из танков шел и вдруг исчез, в болотину провалился, только вода, только вода ключом поверху — утонули танкисты.

Бегу, воронка на воронке, прямо живой травинки нету. Вижу: окоп немецкий, в нем миномет — теперь уже наш. Вот бы, думаю, повернуть его по врагу.

Подбегаю к своим автоматчикам, они в окопах сидят, подполковник Сухинин с ними, за боем наблюдает. Махнул рукой тем двоим, которые меня отводили, мол, привет!

Присел в окопе, пишу бумажку Сухинину: ушел, мол, из госпиталя, прошу разрешить остаться в строю. Он отвечает: оставайся.

Тогда мы втроем бежим к трофейному миномету, он недалеко был. Подкопали окопчик, развернули трубу, одного вперед наблюдателем выслали.

А ну, ребята, говорю, подайте-ка мину. Взял ее, сунул в трубу — и едва руки успел убрать: она как плюхнет! Я вторую, потом третью. Наблюдатель машет флажком — подальше, поближе. А потом махнул: беглым давайте. Тут мы пятнадцать штук подряд кинули.

Только последняя мина ушла, дрогнула под нами земля. Впереди нас столб вздыбился. Чуть погода — сзади. В вилку берет, сволочь! Надо разбежаться. Кинулись мы в сторону, он как ударит, закидало нас землей, миномет разбило.

Вернулись мы в окоп, а Сухинин говорит: смотри-ка ты, молодцы минометчики, быстро за нами подтянулись и уже огонь ведут. А когда узнал, что это мы огонь вели из трофейного, похвалил, но приказал без разрешения никуда не отлучаться.

А бой идет. Смотрю я вперед, впереди мелкий кустарник, березки реденькие, направо ложок, а за ложком наши танки бой ведут. Снаряды вокруг них землю фонтанами выгребают. И вдруг видим: задымил наш КВ, немного погода — второй.

Подполковник тут заматерился и аж чуть не плачет. Он эту фашистскую пушчонку видит, а танкистам своим передать не может:

потерялась связь с танками. Немцы по ним болванками били, и должно быть лампочки в радиях крошились.

Тогда Сухинин посылает автоматчика-связного. Не дошел связной, на наших глазах подкосило. Он второго посылает — подкосило. Он третьего — и третий не доходит. Бегут-бегут, упадут и не встанут больше.

А за ложком уже четыре наших КВ горит.

На подполковника нашего смотреть боязно. Рука у него на подвязке, прихрамывает, губы трясутся, ругательствами самыми страшными ругается.

Поглядел он на автоматчиков: кто добровольцем пойдет? Никто не вызывается — на наших же глазах товарищи гибнут. Молчат все.

Тогда Сухинин подзывает одного:

— Ты пойдешь, приказываю.

А тот:

— Не пойду я, все равно убьют.

— Но ведь танки гибнут, ты видишь? Приказываю идти!

А солдат к стенке прижался.

— Не пойду! — кричит, — убьют же!

Тогда Сухинин вытащил пистолет и еще раз повторяет свой приказ. Солдат ни в какую. И Сухинин поднял пистолет и прямо в лоб тому выстрелил, убил труса.

Спрятал пистолет и меня подзывает. Я ближе всех стоял. Подошел я, оперся он о мое плечо, и смотрю — карабкается из окопа.

Вылез и бегом, бегом туда, где танки. А сам хромает да раненую руку на бегу придерживает.

Солдаты в окопе так и оцепенели. Я стою, гляжу тоже, а на мое плечо, о которое подполковник оперся, будто гирию положили. Что же это, думаю, такое получается? Позор-то какой на наши головы!

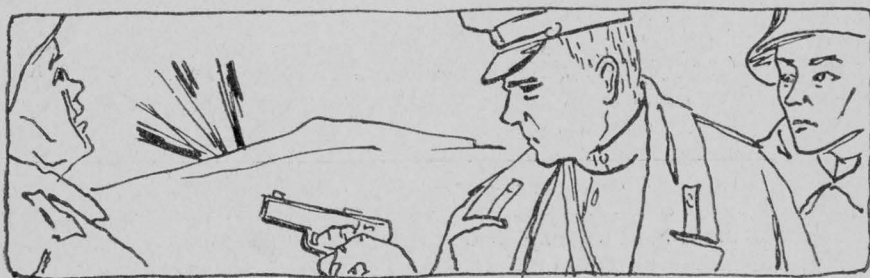
Бросил я автомат за спину, выскакиваю на бруствер. Товарищ подполковник! — кричу. — Товарищ подполковник!

Догнал его, остановился он, за сердце держится. Посмотрел на меня, потом схватил за руку, потащил на возвышенность. Легли мы с ним, он бинокль мне в руки, сует: смотри, говорит, вдоль этой грядки, куст отдельный — оттуда пушка бьет или танк закопанный. Понял?

Скатился я с возвышенности и через ложок длинными перебежками. Бегу и слышу: что-то дергает меня за шинелку то справа, то слева. Упал, гляжу — дырки на шинелке.

Отполз в сторону, вскакиваю и снова вперед что есть духу. Сколько уж я так бежал — не помню.

Вот и танк первый. Подполз к нему, а он, как шальной, на месте не стоит: то передний ход даст, то задний, то в сторону кинется. Чуть меня не затоптал.



Вскарабкался я на него, стучу. А они из пулемета лупят, не слышат меня. Полез я к смотровым, кричу, показываю влево, где грядка, хлеб посеян и куст отдельный. Никто меня не слышит. Плонул я, соскочил и к другому танку.

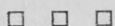
Вдруг меня горячей волной в спину как ударит. Упал я, лежу. Пошевелил руками, ногами, все цело. Оглядываюсь вокруг — нет воронки. И тут ударило меня вторично. Тогда понял: меня сшибло волной от выстрела танка, на котором я только что был. А главное, оказывается, они поняли меня, танкисты-то, и уже бьют по пушке.

Несколько выстрелов, и замолчали фашисты.

Вернулся я в лошину, сюда уже Сухинин перебрался. Поднялся он на взгорок, мы за ним. Забрались в большую воронку несколько автоматчиков, радисты, сестра Тася и я. А Сухинин стоит наверху с биноклем, за боем наблюдает.

Вдруг разрыв впереди, и наш подполковник катышком в воронку так и скатился.

Скатился, сел и сразу гимнастерку стал задираť. Ремень ему перебило, живот царапнуло. Он говорит: перевяжи-ка, Тася, меня. И когда перевязала, он похлопал по животу ладошкой (а живот у него, правда, большой был) и говорит: если по костям, то перемололо бы, а по пузу — ничего, спружинило!



А бой все дальше уходит. Подзывает меня Сухинин и распоряжение дает: вернуться и найти танк, который ночью еще потерялся.

Сели мы с тремя автоматчиками на маленькую танкетку и поехали в тыл. Долго колесили по лесу — туда-сюда совались, нету нашего КВ.

Вдруг видим: то ли огромная воронка, то ли яма развороченная, а над ней гусеницы торчат. Подъезжаем — наш танк стоит! На попа, можно сказать, стал. Танкисты копошатся. Вся яма гусеницами изжевана, ребята едва на ногах стоят, грязные, ободранные.

Ну помогли мы им, выкарабкался КВ. Отправил я автоматчиков на танкетке, а сам на танк сел, поехал. Заметили нас с командного пункта, сигналият флажками: увеличить скорость! Вперед!

Набрали мы сумасшедшую скорость, пролетели поле, которое немецкая артиллерия обстреливает, мимо нашего горящего танка пролетели, и вот они, окопы.

Ну, думаю, все. Несколько фашистов побежали, а остальные нет, только головы высовывают. Я даю очереди из автомата, чтобы помешать им гранату бросить. А танкисты мои молодцы — налево, направо пушкой ворочают да как плюнут, как плюнут, а потом из пулемета, оглох я совсем.

Сигналю им, ору в переговорник: «Пушка слева!». Смотрю, крутанулась башня, ударила. У пушки только колеса вверх полетели. Ну, молодцы! Потом мы миномет раздавили, а я все вдоль окопов очереди даю. Фашисты только из конца в конец по окопу бегают, норовят, видно, под нас гранату кинуть.

Кончились у меня патроны. Сигналю, прошу у танкистов. Выкинули мне пачку. Я взялся заряжать, а когда тут заряжать? Штук 10—15 в диск вложу, закрываю — и очередь. Снова заряжу, снова очередь.

Ну, поутюжили мы еще немного окопы, погоняли немцев — и назад.

Возвращаюсь я однажды на передовую: донесение в штаб дивизии относил. А путь мой лежал по горе, по лесу. Канонада артиллерийская гудит — наши поддают огоньку, да и немцы тоже в долгу не остаются. То и дело приходится ложиться; трещат деревья, хвоя сыплется.

Забрался я на гору. Вдруг впереди меня падает с лесины наш солдат. Подбегаю, а он убитый. Рядом с ним телефонная трубка валяется и слышу — бормочет.

Поднял, послушал и кричу в нее: ваш, мол, солдат убит!

— А ты, — спрашивают, — кто такой?

— Из другой части, — говорю, — старшина Бормотов.

А они:

— Слушай, старшина, не бросай трубку, сообщай, что видишь впереди! Сейчас наш наблюдатель придет, сменит тебя.

— Как же, — говорю, — так. Я выполняю приказание, мне бежать надо.

А оттуда, из трубки:

— Я такой-то, отменяю временно данное вам задание. Приказываю: сообщай, что в поле зрения, у меня батарея слепая, молчит, ты понимаешь?

— Как я вам буду сообщать, — кричу. — У меня же карты нет, квадратов не знаю!

— По ориентирам! — кричит трубка. — По ориентирам, которые видишь!

Снял я с солдата бинокль, а от него одна половинка, другая разбита. Ну ладно, повесил себе, залез на пихту, пристроился, смотрю в одну половинку.

А впереди, под горой, далеко очень пыль клубится, ровно колонна машин идет.

— Так и так, — кричу, — прямо впереди меня, правее лога, на таком-то расстоянии пыль!

Ударил батарея, вижу разрывы, недолет. Кричу в трубку: левее и дальше на столько-то! Дали еще два-три пристрелочных, гляжу, кажется, подсекли.

— А теперь давайте беглым!

Приставил один глазок, наблюдаю. Присмотрелся: это автомашины, солдаты с них сыплются — и в разные стороны.

Хорошо поработали артиллеристы, несколько машин разбили. Просидел я на этой лесине без малого два часа, а потом меня сменили.

Было это где-то под Витебском.

Наши танки заняли плацдарм на западной стороне небольшой речки. Танкисты вели тяжелые бои.

По приказу подполковника Сухина я шел связным в тыл, на КП командира дивизии.

Утро уже проблескивало, светать начинало. Местность кругом чистая, просматривается, так я все больше ползком сначала старался. А потом вижу: так дело не пойдет — светло скоро станет. Вскочил и бегом.

Совсем немного пробежал и тут слышу: фур-фур. Упал я, рванула мина недалеко. Я снова бежать. Бегу, а мины рвутся, осколки траву

стригут. Ну, думаю, накроюсь. А ноги не слушают, медленно бегут.

Вот и река. Кинулся с ходу в нее, упал, окунулся с головой. А речка неглубокая, только тинистая очень.

Бреду, тороплюсь. Вдруг мина выше по течению — только вода с грязью фонтаном. Смотрю: рыбина плывет, здоровенная. Поймал я ее руками, а она шевелится — контуженная, видать. Вот, думаю, уха будет...

Вылез из воды, пробежал немного и снова слышу: фур-фур. Упал в воронку, а разрыв почти рядом, потом еще, еще. Все, думаю, засекали, сволочи. Не пройти мне.

Однако полежал немного, затихли немцы. Выскочил я тогда и что есть духу напрямки. И вижу: разрывы пачками, пачками ложатся. Ах, гады, по одному человеку шестиствольными!

И такое зло взяло: все равно обману! И стал петлять, как заяц. То вперед, то влево, то вправо. Меняю направление, маневрирую. А рыбину держу, не бросаю.

Вдруг слышу спереди орут:

— Куда прешь на командный, мины за собой тащишь! А ну сворачивай!

Нужны, думаю, мне эти мины. Черт с вами, повернул левее и сразу в окоп свалился, там наш солдат-наблюдатель сидел.

Потеряли меня немцы из виду и вскоре затихли. Показал мне солдат, и по окопу этому я на КП уже благополучно добрался.

Когда я обратно собрался, мне дорогу показали безопасную, вернулся я к Сухнину спокойненько. Но недолго мне пришлось возле него побыть: снова был послан с заданием на КП дивизии.

Уходил я, танк Сухнина стоял под бугорком, окопчик рядом был вырыт. За танком сидели два полковника — пехотный и саперный, сам Сухнин, сестра Тася и несколько автоматчиков.

Только добежал я до речки, сзади взрыв. Я не обратил внимания, снова перебрел речку и вскорости был на КП дивизии.

Командующий выслушал меня и сказал:

— Возвращайтесь срочно на КП своего полка, Сухнина ранило. Сейчас прилетит самолет за вашим командиром, поможете его погрузить и повернуть самолет.

Едва я успел спуститься с горы, как надо мной пролетел самолет кукурузник. Я видел издали, как летчик прямо на виду у немцев сел и подрулил к командирскому танку.

Солдаты тут же развернули за крылья самолет, и он стал разбегаться. Немцы били из минометов и пулеметов, но летчик был, видать, отчаянный парень. Он нырнул в ложбину, прокрался по ней на бреющем и с ходу перевалил гору, чуть колесами не задел, — только его и видели.

Я подошел к танку усталый. Спросил танкистов, что, мол, здесь произошло. Они рассказали: немцы ударили тяжелым снарядом. Убило сестру Тасю и одного автоматчика, а Сухнина тяжело ранило.

Я присел под танком. Мне все стало как-то безразлично. Трудно было на сердце. Выбыл от нас наш отец полка, наш подполковник Сухнин, с которым столько было пройдено, столько пережито.

Он был храбрым командиром и справедливым. Солдаты его любили. Позже в нашем полку много сменилось командиров, но я особенно запомнил Сухнина.

И сестра Тася погибла. Совсем молоденькая была девчушка, лет девятнадцати. У меня комок стоял в горле. Много видел я смертей, но Тасина смерть была для меня самой тяжелой.

Вспомнил я, как однажды во время боя загорелся один наш танк. Сухинин приказал тогда мне и Тасе выручить танкистов.

Мы с ней подбежали к горевшей машине, я запрыгнул на нее, открыл люк. Открыл, а оттуда дым черный валом. Сорвал я с головы пилотку, закрыл лицо и ну прямо в дым.

Нырнул по поясу и рукой шарю. И вдруг чувствую: поймалась за мою руку танкиста рука да так сжала, что я думал, кости полопаются.

Потачил я его, он подался кверху немного, а дальше ни с места. То ли застрял, то ли кто за него еще снизу ухватился. А я уже не могу, задыхаюсь.

Тут слышу, Тася залезла, схватила меня за плечи и потащила кверху, а я танкиста держу. И вижу — не хватает у нее силенок, кричу ей: «Берем рывком, р-раз!..» И вырвали мы танкиста.



Соскочили с машины — и танкиста с собой. А на нем одежда горит. Отбежали мы подальше от танка и давай тушить, землю кидать. И тут наш КВ взорвался.

Прошел тогда месяц или больше, и танкист, которого мы с сестрой Тасей спасли, прислал ей из госпиталя письмо, благодарил нас...

И вот нет теперь сестры Таси, горько было это сознавать, и все наши ребята здорово переживали.

Через несколько дней после этого я выполнял специальное задание и отстал от части. Догонять мне пришлось одному.

И вот я попал в те места, на ту тинистую речушку, где мы вели тяжелый бой, где погибла наша Тася и ранило Сухинина.

Земля кругом была перепахана воронками и танковыми гусеницами. Я остановился, снял пилотку и так простоял несколько минут.

Потом спустился к речушке, напился воды, перебрел на другой берег. Нашел я и тот бугорок, под которым стоял сухининский танк, и тот окопчик, возле которого погибла сестра Тася. Никого кругом нет. Тишина. В стороне возвышался холмик свежей земли, совсем голый, наскоро насыпанный.

Я отыскал дощечку, нацарапал Тасино имя и звание, воткнул дощечку в холмик. Поднял автомат и дал очередь...

Я шел вперед по следам своих танков. В реденьком перелеске я проходил нашу бывшую стоянку, и снова тяжелые воспоминания навалились на меня.

Вспомнил я, как совсем недавно стояла здесь наша кухня, и я однажды с двумя полными котелками шел от нее, нес обед. И на меня вдруг налетел какой-то танкист, обнял меня, заплакал и все повторял: «Погибла Тася, погибла Тася...».

У меня котелки опрокинулись, а он никак не может удержаться, все плачет и причитает: «Милая Тася погибла». Это был тот самый

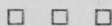
танкист. Он меня сразу узнал, а я нет, потому что лицо его обгорело и после госпиталя сильно изменилось.

— Погибла, — говорю, — Тася, и ничего теперь не поправишь. Пойдем снова к кухне.

Вернулись к кухне, а повар уже котел моет. «Нету, — говорит, — больше». Пошли мы к помпохозу на склад, рассказали о всем случившемся. Выслушал он нас и дал нам консервов, хлеба и дал нам еще термос с водкой.

И мы с этим танкистом, товарищем моим по несчастью, крепко выпили. Солдаты наши помогли нам сесть на машину. Пришел майор Резниченко, назначенный на место Сухинина, увидел нас и говорит солдатам: «Выкиньте их из машины». Солдаты тогда сказали: «Пусть они сидят, товарищ майор, не трогайте их. У них друзей убили».

И мы с танкистом остались в машине...



Пошли наши танки в атаку. На подступах к Полоцку это было, Прибалтийский фронт. Отбили немцы нашу атаку, отошли танки, а одна машина осталась перед окопами врага: гусеницу ей порвали. Экипаж был невредим, вел бой и отстреливался, пока боеприпасы не кончились. А потом затих.

Метрах в двухстах перед ним стоял немецкий танк закопанный. Он бы мог запросто расстрелять нашу машину, но делать это не торопился. И мы, конечно, понимали, почему. Танк с порванной гусеницей немцы считали хорошей приманкой. Они были уверены, что мы попытаемся выручить почти исправную машину. И уж тогда они разом прихлопнут всех.

Три ночи подряд пытались пробраться к танку наши автоматчики, чтобы накормить танкистов и передать патроны, но каждый раз возвращались с потерями: крепко пристрелялись фашисты к танку.

Вызвал меня и всех автоматчиков командир полка и объяснил задачу: во что бы то ни стало накормить танкистов.

Всего нас собралось человек пятнадцать. Посоветовались мы с командиром, и я решил не брать всех, а только трех человек. Со мной пошел Яценко и еще двое автоматчиков, забыл их фамилии. Нам требовалось унести хлеб, воду и патроны к пулеметам.

Взвалили мы термосы на спину и пошли через нашу первую линию, где пехота лежала. Добрались до первого нашего окопа, залегли, стали присматриваться.

Лог впереди, кустарник кое-где, кочки вроде бы по низине — все это хорошо видно, когда ракеты взлетают. А дальше грива и на ней темным пятном наша подбитая машина.

Пехотинцы нам говорят: «Опять к танку? Зря идете, только головы свои оставите».

Мы промолчали. Погасла ракета. Командую: «За мной!»

Пробежали немного — ракета. Мы упали, лежим. Гляжу вперед, а это не кочки, а солдаты убитые — и немцы и русские вперемешку.

Дождались мы темноты — и снова бросок. Немец по логу трассирующими бьет, но все это так, вслепую. Проскочили мы ложок, залегли. Теперь самое трудное впереди.

Земля вокруг танка вся минами исковеркана — ни кустика, ни травинки. И уже нам голоса немца слышны. Лежим, духу для последнего броска набираемся.

И тут фашисты то ли почуяли что, то ли так, как у нас солдаты говорили, для физзарядки — ударили по логу из минометов. Нам это было уже не так страшно: мы ближе были.

Наверное, нам в этот раз здорово повезло. Я оставил пока своих ребят лежать, а сам с термосом каши за спиной для броска приготовился. И только собрался с духом, как позади нас, прямо поверх наших голов ударил по немецкой передовой наш гвардейский миномет, наша катюша.

Я с разбегу под этот шумок пробежал, вскочил на танк, лег на нем, прижался. Потом стучу тихонько по башне, говорю: «Ребята, обед вам принесли, возьмите термос, пока ракеты нету».

И вдруг вижу: приоткрылся люк на башне и граната оттуда — хлоп. Распластался я на танке, как Христос на кресте, ну, думаю, все, накрылся. Не немцы, так свои.

Рванула граната на земле, осколки так и забарабанили.

Почуяли немцы неладное и давай трассирующими из пулеметов по танку. Хоронюсь за башней, а сам, как только умею, костерю танкистов трехэтажными.

Затих обстрел, успокоился немец. Смотрю, открывается снова люк, танкист высовывается. «Извини, — говорит, — браток, теперь мы слышим, что ты наш. А то тут немец провокации устраивает. Давай жратву, подышаем».

Снял я с плеч термос, подал ему. Скрылся он в башне; завозились ребята в танке, запыхтели. Прямо руками, слышу, хватают кашу. Ну, думаю, пообедают с голодухи. Шепчу: «Приказано сперва понемногу! Прекратите обед!».

Куда там — только пыхтят!

«Возьмите воду, патроны, — шепчу. — Бросьте есть! Командир танка отвечает за последствия!»

Затихли, слышу, бросили вроде еду. Высунулся командир: «Давай, браток, остальное».

Отдал я воду, мешок с патронами, лампочки к рации передал и сказал, на какой волне говорить с командиром полка. Потом тихонько слез и вернулся к своим.

Возвращаться налегке нам было уже просто: наперегонки, как ребята бежали. Остановились, когда через передовой наш окоп перепрыгнули.

Только мы отдышались — нам навстречу танк ползет. Остановился, подзывает нас танкист, говорит:

— Комполка приказал подбитый танк отбуксировать, а мы дороги не знаем. Садитесь с нами, показывайте.

Я говорю:

— Немец там по живому голосу лупит, а вы на моторе хотите подъехать.

— А нас, — говорит, — артиллеристы будут поддерживать, минометчики, садитесь.

Сели мы вдвоем с Яценко, поехали. Командир танка дал мне фонарик, я сел впереди возле щели, красным светом помигиваю — правее, левее.

Едем на малом газу. Перебрались через лог, потушил я фонарик, говорю командиру: «Стой, дальше нельзя, заметят. Вызывай артиллерию».

Только успел он по рации передать, как наши орудия ударили. Взрывы близко перед нами, так что осколки по броне пощелкивают.

Впереди светло стало, и мы увидели подбитый танк. Ну, тут уж

времени терять нам нельзя. Подкатили, развернулись на полном ходу, мы с Яценко прыгнули, двумя тросами зацепили. А танкисты из подбитой машины нам кричат: «Стойте, братцы, малость, не тяните!»

Едва только просветлело впереди, поредели взрывы — ударили они из своей пушки термитным. И фашистский танк, закопанный, задымился.

Оказывается, был у танкистов один снаряд, берегли его на самый крайний случай.

Загорелся немец, и мы полным ходом назад.



На подступах к Львову, в нескольких километрах, мы попали в засаду. Немцев, правда, оказалось немного, и их скоро расколотили, но я был в этом бою ранен осколком. Тяжело ранен был и наш командир полка подполковник Юдин. Не успели его увезти в госпиталь, умер он. Похоронили мы нашего командира восточнее Львова.

Меня увезли в госпиталь в город Винницу. Там я выздоровел, поправился, но свой полк уже потерял. Меня направили совсем в другую часть — в 20-ю гвардейскую механизированную бригаду, в разведроту, которой командовал Герой Советского Союза Устименко. Здесь я стал командиром гусеничного бронетранспортера.

Шел январь 1945 года. Наша бригада в составе Первого Белорусского фронта освобождала Польшу. Впереди был город Познань.

Немцы откатывались к городу, сопротивления здесь большого не оказывали. Были только мелкие стычки.

Мы на своем бронетранспортере через сосновый бор выскочили к реке. Как мы определили по карте, это был один из притоков Вислы.

Река была покрыта льдом, лед показался нам крепким. Ждать, когда саперы подойдут и протянут настил, пришлось бы долго. Мы поехали по льду.

И совсем было уже переехали, да тут одна гусеница забуксовала. И до тех пор буксовала, что лед лопнул, и машина провалилась. Неглубоко, правда, но мотор, залило, и он заглох. Так мы и стояли целый день и потом еще ночь, пока саперы не проложили помост.

Перешли по нему танки, и нас с большим трудом вытащили из льда.

Дождались мы дня, расклали под машиной костер и давай отогревать мотор. Отогрели, подремонтировали и стали догонять своих.

А наши уже далеко ушли. Несколько суток мы их догоняли: то заблудимся, то горючего не хватит.

И вот однажды, на какой уж день не помню, въезжаем мы на своем транспортере в лес. Лес, надо сказать, неважный, не нашим сибирским лесам чета — реденький, голенький, полянки кустиками заросли.

Едем мы по лесу, вдруг справа видим: белый флажок помахивает — немцы!

Остановились мы, советуемся, что это значит: то ли нам хотят сдаться, то ли нас хотят взять. Одним словом — переговоры.

Смотрим, флажок выше поднялся, немец вылез, остановился и стоит, ждет. Делать нечего, надо идти. Мне идти надо, я командир. Один пойду, думаю. Рисковать — так одному.

Снял автомат, взял ракетницу, зарядил красной ракетой, спрятал за пазуху. Наказываю ребятам: «Следите за мной, держите на прице-

ле. Если меня в плен начнут брать, даю красную ракету, стреляйте прямо по мне!...».

Вылез из транспортера, пошел. Уверенно так, вроде, иду, а ноги мои — вот честное слово — трясутся. Будто бы не боюсь, а как гляну вперед, живого немца увижу — так в ногах слабость, ну хоть ты что делай! Ведь к фашистам в лапы безоружный иду!

И тут слышу: самолеты идут. Глянул, а это наши, волна за волной и все на запад. Гул в небе стоит.

И поверите — спокойней мне стало, даже вроде радостно. Вот, думаю, не одинок я, есть у меня и в воздухе братья.

Подошел я к немцу шагов на пятьдесят, остановился. Офицер это был, здоровый такой, помню, ростом. Остановился я и кричу ему:

— Сдавайтесь! Спротивляться бесполезно!

А он мне по-русски:

— Я должен знать: кто перед нами, какая часть?

— Танковая часть, — говорю, — советская. Сдавайтесь, война кончается, после войны домой вернетесь!



А он все свое долбит:

— Кто передо мной, какая часть?

Ну, чувствую, из меня парламентар неважный получается. Темнит что-то немец. Или я его не понимаю.

Задрал я голову, а самолеты наши все идут и идут да много. Махнул я ракетницей, а сам кричу:

— Сдавайтесь все! Если не сдадитесь, дам ракету самолетам, они моего сигнала ждут, разбомбят вас, к чертовой матери!

А немец как будто что-то почувствовал:

— Отвечай, — говорит, — немедленно, какой части, сколько вас? Ты у нас на прицеле!

— Нет, — кричу, — это вы все у нас на прицеле! Дам ракету — пыль и грязь от вас будет! Последний раз предупреждаю: не сдадитесь, даю команду для бомбежки!

И ракетницу выше подымаю.

Тут офицер повернулся к своим и что-то залопотал по-немецки.

Держу ракетницу над головой, а сам думаю: «Влип, кажется, старшина Бормотов, что делать?» Ведь не давать же в самом деле ракету, когда с двух сторон на мушке. И повернуться, уйти не могу. Чувствую, пока я лицом к ним стою, они в меня не выстрелят.

Немец полопотал еще немного и гляжу — подходит ко мне поближе, говорит:

— Мы можем сдаться только офицеру!

В плащ-палатке я был, моих погон не видать. Кричу ему:

— А я кто для вас — не офицер, так вашу и так? Может, еще документы предъявить?

Он еще потоптался немного, сходил куда-то, вернулся, говорит:

— Мы сдаемся, куда складывать оружие?

У меня словно гора с плеч. Ткнул я ракетницей наугад: сюда, говорю, и сюда.

И тут у меня просто волосы на голове зашевелились. Полезли немцы с поднятыми руками чуть не из-под моих ног. Совсем рядом был их замаскированный окоп.

Отступил я назад, кричу: «Не подходить близко, построиться!»

Поскидали они оружие в две кучи, построились, где-то их человек двести оказалось. Несколько солдат раненых было, товарищи их под руки держали.

Подожел я к своим ребятам. «Что, — спрашиваю, — дальше делать будем? Сопровождать немцев в тыл или вперед пойдем своих догонять?» Решили ехать вперед.

Написал я на листке несколько слов: разрешаю, мол, пройти в тыл добровольно сдавшимся немецким солдатам, 200 человек. Разведчик Бормотов. Отдал листок офицеру, сказал: «Это вам пропуск, ведите колонну. Да флажок держите, а то наши издали не разберутся, крошат вас».

Это было в 1945 году, где-то в последних числах января. Дни эти я запомнил хорошо, потому что в ночь на 26 января, после того как мы отправили в тыл пленных, меня ранило в перестрелке. Мы заночевали в одном из хуторов, и на нас наскочили заблудившиеся немцы.

До Познани оставалось сорок километров. Я отбыл в госпиталь города Лодзь, где пролежал до 4 мая 1945 года.

Литературная запись В. МАЗАЕВА.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...в «Памятной книжке Томской губернии» (1904 г.) о городе Кузнецке сообщалось следующее: «Всего домов 487, мужского пола 1997, женского пола 2102. Церквей 4. Одна часовня. Три училища. Ильинская 10-дневная ярмарка. Фабрично-заводских заведений 26, с производством 12 500 рублей в год. Богадельня. Лазарет. Аптека. Казенных винных лавок 2».

...до Октября во всей Горной Шории было шестеро грамотных шорцев, обученных в миссионерской школе в Горно-Алтайске. Теперь только в одном Таштагольском районе работают свыше двух тысяч инженеров, техников, врачей и учителей.

...Яшкский цементный завод — старейшее по своей отрасли предприятие в Сибири. До Октября оно было единственным к востоку от Урала.

Завод начали строить в 1908 году. В 1912 году он выдал первую продукцию.

ВЕРНОСТЬ

(ОЧЕРК)

Ледяной ветер неистово бросал в лицо искристую пыль, рвал полы ватника, холодной пеленой гасил и без того тусклое февральское солнце. Стараясь не потерять тропинку, Сергей поворачивался к ветру то спиной, то боком. На берегах Кии в эту пору северяк гуляет бесшабашно и люто.

Обойдя неглубокий распадок, до краев замурованный ребристыми переносами, Сергей оглянулся.

Он хорошо помнил каждое слово утреннего разговора. На какое-то мгновение мелькнул неподражаемый Валин жест — смуглая рука рывком бросает косичку через плечо. «Не грех всем звеном сады проведать!» Ребята шумят, кто-то предлагает спуститься на лыжах по Кии, Саша Батурич басит, как походная труба...

И вдруг все страсти перечеркиваются решительно и бесповоротно: завтра — контрольная по алгебре!

Вот тогда-то, зная, что Сергей все равно пойдет на участок, Валя, улучив минутку, доверительно и, как Сергею показалось, виновато и радостно шепнула: «Я пойду тоже».

Но следов не было видно.

Грусть, которой он не хотел уступить, но которая исподволь полонила сердце, мгновенно потускнела и бесследно растаяла, как только взору открылись склоны участка. «Как? Неужели погибли?».

Беда была еще неясной, не совсем определившейся, но, кажется, она пришла. И совсем с другой стороны.

Он бессильно опустился на снег, снял рукавицу и концом шарфа стал растирать переносицу. Все деревца на правой стороне были раскрыты... Над ними курились холодные вихорьки.

Чувство безысходности овладело Сергеем. Он закрыл глаза и на миг увидел чистую дорожку с правой стороны и лапчатые тени на ней. «Значит, нынешним летом их не будет?...» А какими сильными и полнокровными казались еще так недавно эти деревца! Вообразить их мертвыми было очень трудно...

Сергей стремительно подбежал к крайней тонкой яблоньке, отклонил размашистую ветку. Заиндевевшая кора обожгла пальцы холодом, пробежавшим по всему телу. Вокруг яблоньки из сугробов торчали пучки соломы — все, что осталось от распавшихся снопов...

Сергей кинулся в другую сторону. Неподалеку от «вахтерки» — так ребята окрестили шалашик — поднял полузасыпанный снегом

сноп. Он тотчас рассыпался: вязки были из картофельной ботвы...

И уже отрешенно-неторопливыми шагами дошел он до изгороди, выбрал сколотый горбыль; орудуя им, как пешней, подрезал первый слоистый пласт...

Работая то на правую, то на левую руку — острые кромки горбыля врезались в ладони сквозь рукавицы — он резал и резал полуметровые квадраты, перебегая от сугроба к сугробу. Затем торопливо укладывал их вокруг приземистых ранеток... Стало жарко. Он опустил воротник, снял шарф, залив его в какой-то карман...

...Как невероятно давно это было! И до чего же он сейчас взрослый! Вспоминая ту зиму, он многое пропускать. От этих воспоминаний становилось неловко, точно он снова превращался в мальчишку.

Сергей выплеснул последнее ведро прямо в зеленую листву и выпрямился. Холодная капля скатилась за воротник, он вздрогнул и засмеялся.

— Ты что?

— Да так. Ничего. Сегодня рано кончили... А помнишь, Валя, как я пальцы поморозил? Круглый дурень был...

— Думаешь, теперь квадратный стал? — Валя лукаво, снизу вверх посмотрела на юношу. — Жаль — маловато... Кто тогда те дурацкие снопы предложил? Представляю, как ты, сооружая снежные бастионы, картошку клял!.. — затем негромко спросила: — Сережа, а если бы тогда погиб сад?

Сергей посмотрел куда-то поверх деревьев, потрогал ладонью коричневатую развилку, влажную, с мелкими бархатистыми трещинами. Яблони стояли, словно на параде, чистые, белоногие, шевеля убористым листом.

— Посадили бы заново.

— Ой ли! Не пришлось бы пороку занимать? Сверх троицы не играют, а ведь они три года гибли...

Сергей нахмурился. Она тоже считает это игрой.

— Вот ты и машину водишь, — продолжала Валя, — и в космосе — как дома... И дались тебе еще эти сады. Полдесятка лет с тобой

в классе, а непонятный ты всем, Сережа... Чего хочешь? В колхозе ты никогда не жил. Земли, кроме этой, не нюхал, специальность электрика получаешь. И вдруг — сады и себя в придачу.

— Во-первых, не вдруг... — резко повернулся Сергей. Он хотел еще что-то сказать, но, взглянув на девушку, почему-то замолчал.

— Я понимаю, что нужно, что хо-

Автор очерка «Верность» Илларион Иванович Алексеев прожил нелегкую, но яркую жизнь. Родившись в 1904 году в семье батрака, он сам с восьмилетнего возраста батрачил у богатых кулаков.

И. Алексеев был сельским избачом, пропагандистом партсети, затем — учителем. Преподавая литературу, он сотрудничал также в качестве очеркиста в местной печати, руководил литературным объединением г. Марининска.

Илларион Иванович умер после тяжелой болезни в ноябре 1963 года. Мы предлагаем читателю его неопубликованный очерк «Верность».



рошо что-то очень любить. — Валя безучастно смотрела за Кию. — Я тоже люблю... И фрукты, и цветы, и сад. Но не так же, чтобы это главное... Откуда это у тебя?

— Не знаю. От обиды, может...

— Острик-самоучка.

У девушки сузились глаза, дрогнули брови.

— В самом деле, Валя, разве тебе не обидно? — продолжал Сергей. — За землю, за просторы эти? А? Помнишь, как ты в школу пришла? — Сергей присел на траву, пятерней поправил прическу. — Я тогда прихворнул, и отец свез меня к бабушке, в Запорожье. Наверно, там и заболел этим...

— Бациллы там такие? — Валя нетерпеливо швырнула косичку через плечо.

— Сама ты бацилла... Понимаешь, поезд пришел ночью, а утром там расцвели яблони. Выскочил я прямо с постели в сад, а там... Все другое! Даже солнце не там, где у нас! Да будто и не одно оно, с десятком. Но не это меня поразило. — Он споткнулся, не находя слова. — Вообрази, Валь, — широко взмахнул руками, точно обнимал что-то огромное, — все в сверкающих цветах! Я не знал, куда смотреть. Мне казалось, я попал в сказку. Даже пчелы там рождались просто из жарких золотистых лучей. Я стоял, точно замороженный.

Сергей неожиданно умолк и поморщился, словно сокрушаясь, что этого сейчас не увидишь.

— Ну, вот... Яблонь было много, они стояли близко друг от друга, и ветви их сплетались концами. Сколько я так стоял — не знаю. Может, минуту, а может, час. Потом... — Сергей смущенно улыбнулся. — Потом привлек ту, что поближе, сплошь усыпанную цветами, и срезал ножичком ветку.

— Зачем?

— В том-то и дело, что не знаю... Ни тогда, ни потом я не мог ответить на этот вопрос. Жадность обуяла, что ли... Конечно, струсил, бросил под корень, в лунку. Оглянулся, а на аллее — бабушка... Поставила ведра, ласково так поманила меня пальцем и говорит: «Принеси, Сереженька, вон ту гнилочку, под крайним деревом, ветром ее, что ль?». У меня — словно гора с плеч. «Ветер, конечно, ветром ее сломило, бабушка, такой ненормальный ветер, вот только притих!». А бабушка-то в саду — ни свет, ни заря... Повертела она цветочками туда-сюда, снова отдала в мои руки и, улыбаясь одними морщинами вокруг глаз, как бы про себя сказала: «Чудной ветер... Правда, что ненормальный. С ножом шныряет»...

Валя прыснула в кулачок. А Сергей, помолчав, продолжал:

— Разве это не обидно? Та же земля, и то же солнце! Почему, я спрашиваю, им здесь не плодиться и не цвести? Воды мало? Напоим! Земля? Удобрим! Холодно? Согреем! Живите на здоровье!

Девушка быстро и гибко повернулась к нему:

— Климат, садовая голова твоя, климат не позволит! Не холод, а весь комплекс, вся специфика сибирского климата! Вот ты Егорыча больше всех считаешь. Поделом, знающий он, глазастый, как ты говоришь. И опыта у него на земле — уйма. Так знаешь, что он о тебе говорит?.. Что дорога эта не по тебе! Не таких из колеи выбрасывала... Подумаешь, Мичурин выискался!.. Егорыч говорит, что для нового сорта, может, жизни не хватит.

Сергей несмело прикоснулся к ее плечу:

— Егорыч прав, Валя.

На реке, где-то вверху по течению, застрекотала моторка, донеслись приглушенные в берегах обрывки песни.

Сергей прислушался.

— Едут.

Валя молчала.

— А все же, — сказал Сергей, — на участок он не поспешил.

Когда на пришкольной делянке стало невмоготу, тесно, отважились идти с поклоном к Егорычу. Обнадеживать себя не стали, сподручной земли в колхозе — в обрез; под сады же годились только прибрежные склоны, закрепленные за огородниками. Ларион Иванович, директор школы, напутствуя делегатов — Сергея, Сашу Батурлина и Юру Прибыткова, — советовал не робеть, нажимать, добиваться своего, а сам по уходе ребят безнадежно махнул рукой: «Не даст...»

Сергей изложил просьбу сбивчиво, не теми словами, что готовил.

— Мы, то есть все из шестого отряда, всем классом... Мы из заводской школы. Просим колхоз выделить нам огороды... Не огороды, а ту землю. Нам надо развести сады. Чтобы фрукты были.

Иван Егорович улыбнулся. Правленцы тоже согласно улыбнулись.

— Вот, значит, мы и постановили, чтоб нам выделили под фруктовые сады...

Седеющие усы председателя круто поднялись над верхней губой.

— А ты-то сам что за фрукт будешь?

— Я не фрукт. Я Сережа Гурьянов... Дадите земли?

— Значит, Гурьянов, сулишься в наших краях яблоки собирать? Чтоб здесь, на Кии, родились?

— Ага! — глаза мальчика засияли. — На пришкольном у нас стилиаги... — Он оглянулся на Сашу, толкнувшего его в бок. — Стелющиеся. Это мы их так прозвали... Так они уже по три килограмма дали. Только...

— А известно ли тебе, Гурьянов, что в Сибири севернее Мариинска никто и никогда ни единого, даже червивого, яблочка не взрастил?

— Так я... Так мы же потому и решили!

— Умгу... — председатель помолчал, теребя усы. — Н-дас. А куда будем фрукты сбывать?

— Как куда? В садик пока. А потом государству.

Все засмеялись. Лица ребят были серьезные. Тогда Иван Егорыч, председатель «Зари», грузно выбрался из-за стола, прошелся по комнате и, положив широкую ладонь на стриженую голову Сережи, твердо сказал:

— Добро! Рости сады!

Правленцы обескураженно переглянулись.

...Вот здесь, где сейчас они с Валеи, тогда, осенью, вкопали светлый столбик с краткой надписью:

«УЧАСТОК ОТРЯДА 6»

Столбик уцелел, только его перенесли в конец аллеи. Сейчас на нем прищиплено объявление: «Сегодня после полива комсомольцам 10-го «В» задержаться на собрание. Присутствовать всем обязательно».

О чем будет разговор, знали все. Но, когда Борис, комсорг класса, накрыв газетой еще мокрую бадейку и усевшись на нее верхом, начал говорить, — два десятка юных лиц с напряженно-выжидающими взо-

рами повернулись в его сторону. Борис говорил, как всегда, чуть-чуть заикаясь и делая паузы там, где их никто не ожидал.

— Итак, послезавтра у нас последний день, ребята. Это немножко грустно. Конечно. Но мы ведь будем и дальше... вместе. И наша дружба только окрепнет. И закалится на Запсибе. В Новокузнецк мы должны привезти не только хорошие отметки. Но и смелые руки. Этот участок, нашу, так сказать, зеленую эстафету, примет от нас девятый «В», который займет и наши парты... Так что нечего беспокоиться о садах... Но, товарищи, — Борис неожиданно торжественно произнес это слово, — Гурьянов от путевки отказался. Конечно, это...

Лена Бузукина, комкая в руках ситцевую косынку, торопливо подошла к Борису, решительно остановила его на полуслове.

— Я думаю, нам ни к чему эти лирические вступления! Пусть скажет Сергей! Почему он так делает? Какое же это всем классом, если один уже в кусты?.. Пусть даже в яблоневые!.. — Лена, поправляя волосы, улыбнулась. — Тогда я тоже пойду в торговый. И Марина уедет на Урал, ее тетка письмами извела. Если Сергей не может без садов — разведет и там! А «Заря» в его садах и не нуждается. Прок от них не велик. Да и какой из него колхозник? Как из меня — китайский мандарин... Или он думает, что его колхоз с оркестром встретит?..

Сергей сидел позади всех и, сдвинув брови, глядел на свои сандалии. Видимо, он плохо или совсем не слушал Лену и в наступившей тишине, когда несколько голов повернулись в его сторону, вдруг как-то растерянно и с грустью произнес:

— Не знаю...

В неловком молчании кто-то деланно закашлялся. Борис, согнувшись, сосредоточенно отковыривал ржавчину на ободочке бадейки.

— Что не знаешь? — зло уперся в него взглядом Николай Рубан. — Что ты, действительно, из себя артиста корчишь?.. — С нескрываемым раздражением он ткнул сразу оба кулака в карманы куртки. Похоже, следующий вопрос был у него в такой редакции, что Николай, стрельнув глазами в сторону девушек, только с силой выдохнул из себя воздух.

Стоявший с ним рядом высокий и очень бледный юноша в темно-синей вельветке поднял руку.

— Вещи нужно называть своими именами. — Он картинно снял защитные очки, с которыми не расставался даже в пасмурную погоду. — Это — измена!.. Да, да! Измена высоким принципам...

Борис поморщился. Юноша не смутился. Он даже повысил голос:

— И чем скорее Гурьянов пересмотрит свою позицию, тем лучше для него. Какие здесь перспективы? Что ты увидел за этими садами? Разве это идет в какое-нибудь сравнение с грандиозной стройкой, куда мы едем? Сказать бы достижения какие... А то вот... — Он низко и коротко повел рукой, точно привязанной к туловищу. — На выставку не возьмут.

— Жаль, что выставком тебе медаль присудил. Зря. — бирюковато, тихим голосом, но так, что все услышали, прервал его Сергей.

— Медали мы за школьные опыты получили. Это совсем другое дело. Мы заставили их прижиться в этих местах. А вон ту, что «пестрой» зовем, — он указал на ближнюю, самую рослую, но какую-то взъерошенную яблоньку, — сколько лет обхаживаем? А она... Декорация и декорация. Ни единого цветика!..

— А ты Пустовойтова знаешь? — вскочив, спросил Сергей. И сразу же сел снова, ответив сам себе с унылым разочарованием: — Не знаешь, конечно...

Затем ровным и задушевным голосом, каким рассказывают заветные легенды, сообщил:

— Этот человек полюбил подсолнечник. Он хотел, чтобы этот солнечный цветок стал для человека источником блага... Живой фабрикой масла. И этому он отдал всю жизнь... понимаешь, всю, без остатка! За первые пятнадцать лет он не добился ничего... Ни один сорт свыше тридцати процентов масла не давал. Только тридцать. Перешагнуть эту цифру казалось невозможно. Но Василий Степанович любил свое дело и верил в него. Он заставил себя привыкнуть к насмешливым взглядам. И он сделал невозможное. Пустовойтовский подсолнечник дал сначала тридцать шесть, затем сорок, а спустя два года сорок семь процентов масла!

Сергей помолчал, оглядев ребят улыбающимися глазами.

— Сейчас Василий Степанович вырастил подсолнечник, зерна которого больше чем наполовину состоят из масла: пятьдесят шесть процентов! Ясно? И, получая звезду Героя, сказал, что это еще не предел...

В наступившей тишине деревья залопотали глянцево-зеленым листом.

Слово взял Саша Бутурин.

— Я понимаю Сергея. Жаль расставаться со своими трудами. Сергей больше всех копался на этом участке... Правду сказать, мы ведь только летом... В сезон полива. А Сергей и сажал, и прививал, и подрезал, и вообще... Поэтому, конечно... Но, товарищи, — лицо Саши стало очень строгим, — я не понимаю другого. Родина призывает комсомольцев, молодежь на стройки! На большие дела, товарищи! Разве ты не понимаешь разницы, Сергей?..

Они встретились взглядами. Саша выжидающе смотрел на Сергея.

— Это очень хорошо, — наконец ответил Сергей. Он почему-то взглянул на Валю, сидевшую сбоку. Она виновато улыбнулась, хрустнув пальцами. — Это чудесно. То, что всем классом. Правильно это. Но я хочу служить Родине здесь! Ясно? Никуда я не поеду! Кто из прошлых выпусков остался в «Заре»? Надя в бухгалтерии, да и то, когда нигде не устроилась в Кемерове!.. Зачем тогда Егорыча обнадеживали?

Удивительно преображенный, ставший будто выше ростом, Сергей говорил четко, твердо, решительно рассекая рукой пространство перед собой.

— Колхозники верят, что сад зацветет! Что будут яблоки. Но нужна еще работа. Много работы. У них не хватит сил. И нужны знания! И я получу их. Я подал заявление в сельскохозяйственный. Заочно буду учиться. А от тебя, Саша, и от тебя, Лена, и вообще от вас, ребята, я не ожидал... — Он как-то безнадежно и ожесточенно махнул рукой и резко отвернулся. Затем, не оглянувшись, скорым шагом, почти бегом направился вглубь сада...

Валя догнала его и пошла рядом.

«АИК КУЗБАСС»

После гражданской войны и разгрома военной интервенции молодая Советская республика приступила к восстановлению разрушенного народного хозяйства и развертыванию социалистического строительства.

С первых же шагов своей исторической миссии трудящиеся страны почувствовали искреннее стремление международного пролетариата оказать молодой республике помощь. Советское правительство получило тогда немало писем-заявлений от иностранных рабочих с предложением своих услуг.

Летом 1921 года, приехав в Москву на III конгресс Коминтерна, группа иностранных коммунистов (член компартии Голландии инженер С. Ю. Рутгерс, член союза металлистов профсоюза «Индустриальные Рабочие Мира» (ИРМ) техник завода Форда А. К. Мартенс, член Американской компартии В. Д. Хейвуд и другие) предложила свою помощь в восстановлении и развитии предприятий Кузнецкого бассейна, одного из перспективных промышленных районов страны.

Совет Труда и Оборона (СТО) рассмотрел письмо инициативной группы. По предложению СТО в Кузнецком бассейне и на Урале побывал С. Ю. Рутгерс. Он встречался с руководителями Сибревкома и представил доклад, в котором изложил свой проект организации «Автономной Индустриальной Колонии Кузбасс» («АИК Кузбасс»).

25 октября 1921 года Совет Труда и обороны под председательством В. И. Ленина утвердил проект предложений группы С. Ю. Рутгерса (организационный комитет) о схеме организации автономной колонии. 26 ноября 1921 года В. И. Ленин подписал договор об эксплуатации части Кузнецкого бассейна и Надеждинского завода на Урале. Первоначально в ведение АИК Кузбасса во-

дили только Кемеровский угольный рудник, Кемеровский химзавод и 10 тысяч десятин земли под сельскохозяйственную ферму-совхоз.

25 декабря 1922 года был подписан договор, по которому АИК Кузбасса получала право беспопытного ввоза из-за границы машин и материалов. По этому договору организационный комитет (т.т. Рутгерс, Хейвуд, Байер, Кальверт, Баркер) обязан был также организовать перевозку колонистов и их багажа до русской границы, привлекать местных рабочих к труду на равных условиях с американскими рабочими и т. д.

Опыт передачи части Кузнецкого бассейна в эксплуатацию автономной индустриальной колонии вполне себя оправдал. Уже в марте 1924 года правление АИК Кузбасса обратилось в СТО с предложением передать в его ведение весь Кузнецкий бассейн. Свои соображения оно мотивировало тем, что выжиг кокса на Кемеровском химзаводе целесообразнее производить из углей шахт Кемеровского рудника с прибавлением 30 процентов углей Кольчугинского рудника. Имея в виду это, а также «учитывая географическую и экономическую связь Ленинского (Кольчугинского) и Южного (Прокопьевско-Киселевского) районов Кузнецкого каменноугольного бассейна с Кемеровским районом того же бассейна и принимая во внимание, что объединение управления этими районами уменьшит накладные расходы и тем понизит себестоимость продукции названных предприятий», Совет Труда и Оборона 12 ноября 1924 года постановил передать Ленинский и Прокопьевско-Киселевский районы, а также Гурьевский металлургический завод в ведение АИК Кузбасса.

Передача АИК Кузбасса почти всех

предприятий Кузнецкого бассейна ускорило его дальнейшее развитие. Уже летом 1924 года на кузнецкий кокс была переведена доменная печь Нижне-Салдинского металлургического завода, а затем доменные печи и других заводов Урала. Улучшилось руководство предприятия, наладилась внутренняя жизнь колонии. Организационная структура АИК Кузбасса не была все время постоянной. Она менялась по мере изменения хозяйственного состояния дел, по мере расширения производства.

К маю 1926 года структура управления выглядела так. Правление, находившееся в Москве, состояло из лиц, утверждаемых СТО СССР. Во главе правления стоял председатель (или главный директор), его заместитель и члены правления, которые одновременно руководили каким-нибудь отделом, управлением. Деятельность АИК Кузбасса осуществлялась на основе Устава, утвержденного Советским правительством в 1922 году (собрание узаконений № 78). АИК Кузбасса имела свои представительства в Москве, Новосибирске, Свердловске и деловые конторы в Ленинграде, Берлине и Нью-Йорке.

Чтобы шире информировать американцев о делах колонистов, рассказывать о целях и задачах автономной индустриальной колонии, еще ее организационный комитет издавал в Нью-Йорке специальный бюллетень «Кузбасс» на английском языке. Первый номер «Кузбасса» вышел 20 мая 1922 года. Он открывался статьей С. Ю. Рутгерса под общим заголовком «Рабочие мира, объединяйтесь!». Рутгерс подчеркивал: «Тот, кто не верит в Советскую республику, тот должен остаться дома, так как Кузбасс — место упорной работы, это — экономический фронт против капитализма». Автор статьи обращался к желающим ехать в Россию с призывом: «Должно быть тесное содружество и взаимопонимание с советским правительством, советскими людьми».

В третьем номере бюллетеня «Кузбасс» рассказывается о горном инженере Альфреде Пирсоне, отправившемся в Сибирь 22 июля 1922 года с четвертой партией рабочих и ставшим в Кемерове одним из ближайших помощников С. Ю. Рутгерса.

«Тов. Пирсон очень интересуется развитием русской промышленности. Он берет с собой жену и троих детей. Он остановится в Кемерове и его задачей будет найти возможности для производства 1 000 000 тонн угля в год вместо 66 000 тонн, добываемых в течение 1921 года».

Жизни и деятельности автономной индустриальной колонии Кузбасса посвящен рассказ Т. Драйзера «Эрнита», раскрывающий интересную внутреннюю жизнь колонии.

Организация и деятельность автономной индустриальной колонии Кузбасса — одно из значительных событий в международном рабочем движении, яркая страница в истории пролетарского интернационализма и братской солидарности трудящихся всех стран мира.

Экономическая помощь трудящихся всего мира молодой Советской республике в первые годы ее существования явилась провозвестницей тех экономических взаимоотношений и сотрудничества, которые сложились в наши дни между социалистическими странами.

В партийном архиве Кемеровского обкома КПСС хранятся документальные материалы местных партийных, советских и профсоюзных организаций, взаимодействовавших с Правлением АИК Кузбасса и его предприятиями.

Особый интерес представляют документальные материалы партийной организации АИК Кузбасса. Их изучение подтверждает правильность политики Советского правительства, ЦК нашей партии, усмотревших в экономической помощи зарубежных рабочих в деле восстановления народного хозяйства СССР практическое претворение марксистско-ленинских принципов пролетарского интернационализма, имеющих кроме морально-политического значения и большое хозяйственное значение.

Первая, организационная группа иностранных рабочих прибыла в Сибирь зимой 1921—1922 годов. Ее задачей была главным образом подготовка жилищ для новых групп. Началом же деятельности АИК Кузбасса следует считать март 1923 года, когда Кузбасстрестом и правлением АИК Кузбасса был подписан передаточный акт.

В июне 1922 года в Кемерово прибыл В. Д. Хейвуд, а через месяц С. Ю. Рутгерс — организаторы колонии американских рабочих.

Как восприняли русские рабочие идею организации индустриальной автономной колонии? Как встретили приезд иностранных рабочих?

21 мая 1922 года участники общего делегатского собрания рабочих Кемеровского рудника приняли резолюцию, в которой в частности говорилось:

«Заслушав доклад представителя американской индустриальной колонии тов. Шварц, рабочие Кемеровского рудника, через своих делегатов, приветствуют товарищей американцев и выражают полную уверенность, что русские и американские рабочие пойдут рука об руку в совместной работе...»

Мы, делегаты, разойдясь к своим обязанностям, будем вести разъяснение всем рабочим товарищам о значении передачи американским рабочим нашего района и будем в корне пресекать вся-

кую злостную агитацию против американцев»¹.

Русские рабочие быстро нашли язык с колонистами. Правление АИК Кузбасса с первых же дней взяло правильный курс: местные рабочие на равных условиях с американскими рабочими приступили к работе. Был заключен новый колдоговор с одинаковыми и для русских и для американских рабочих условиями.

Первое время у русских рабочих было опасение, что АИК не возьмет на себя выплату старой задолженности по зарплате, образовавшейся из-за нерасторопности руководителей Кемеровской группы рудников, но правление АИК Кузбасса выплатило ее, и все опасения и некоторая настороженность были устранены.

Вскоре прибывшие из-за океана рабочие-коммунисты (а всего в Кемерово приехало до 500 рабочих, не считая членов семей) собрались на свое первое организационное партийное собрание. Это было 6 июня 1922 года. На собрании присутствовало 17 коммунистов. Они заслушали сообщение секретаря Кемеровского РК РКП(б) о деятельности русских советских коммунистов и решили создать свою американскую секцию, вошедшую в районную партийную организацию. Председателем бюро секции (или, как значилось в райкоме, ячейки № 10) был избран Арви Тикка². На этом же собрании было решено: руководствуясь решениями XI съезда РКП(б), иностранных рабочих принимать в члены партии на общих основаниях. Немного позднее в связи с приездом новых групп разных национальностей была организована финская секция, затем 4 сентября 1923 года — литовская и немецкая, а 2 октября 1923 года — югославская.

Все эти секции объединялись Бюро иностранной, или, как еще тогда называли, американской секции, действовавшей на правах обычной первичной парт-организации (ячейки) Кемеровской районной организации. Бюро американской секции было подотчетно райкому партии, получало от него указания, представляло протоколы заседаний бюро и общих собраний, а также собраний секций.

Кемеровский райком партии время от времени проверял работу Бюро американской ячейки. Вот что записано в акте очередного обследования ячейки (15 августа 1923 года):

«Ячейка возникла 6 июня 1922 года, членов партии 73 чел., кандидатов — 14. Собрания проходят регулярно. Исполбюро авторитетно. Партийная масса сплочена и дисциплинирована. Склон и

расхождений нет. Все коммунисты состоят в профсоюзе. Слабо ведется работа среди молодежи. Среди женщин успешно работу ведет т. Грунд»¹.

Заслушав отчет председателя бюро американской ячейки, президиум Кемеровского РК РКП(б) в феврале 1923 года констатировал, что в ячейке за время ее создания проведено 28 партийных собраний. На Кемеровском руднике и шахте «Центральная» созданы марксистские кружки. Ячейка имеет авторитет среди беспартийных. Райком признал работу ячейки удовлетворительной.

Активно включились американские рабочие и в профсоюзную жизнь. На каждом заседании президиума райкома профсоюза ВСГ² присутствовал с правом решающего голоса представитель правления АИК. Все вопросы, связанные с приемом и увольнением рабочих, вопросы быта и культуры, здравоохранения и социального обеспечения правлением АИК решались в контакте с райкомом профсоюза. Выяснилось как-то, что хозяйственное руководство АИК иногда прибегало к сверхурочным работам. Этот факт специально обсуждался на пленуме Кемеровского рудкома профсоюза 10 ноября 1923 года и рудком постановил: «Предложить управлению АИК не допускать сверхурочные работы, строго придерживаясь законов о труде».

Между управлением АИК и Кемеровским рудничным комитетом ВСГ существовал коллективный договор, в котором были изложены права и обязанности правления АИК, профсоюзов и рабочих на основе советских законов о труде и быте.

В марте 1924 года аиковцы одержали крупную победу. В телеграмме Сибирскому Бюро ЦК РКП(б) и Сибревкому правление АИК Кузбасса сообщало: «Второго марта 1924 года в 12 часов дня в Кемерове торжественно открыт химический завод в присутствии полутора тысяч рабочих и крестьян. Под звуки «Интернационала» произведен первый выпуск кокса. Рабочим классом при помощи центральных и местных органов власти, профсоюзных организаций, иностранных пролетариев, членов колонии АИК Кузбасса одержана значительная победа на трудовом фронте»³.

В ответной телеграмме Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкому писали: «Сиббюро Коммунистической партии и Сибревком приветствуют открытие первого химического завода на территории

1 ПАКО. ф. 14, оп. 1-а, л. 195, л. 15.

1 Партийный архив Кемеровского обкома КПСС (ПАКО). ф. 14, оп. 1-а, л. 90, л. 63.

2 ПАКО. ф. 14, оп. 1-а, л. 192, л. 9.

2 ВСГ — Всероссийский Союз (профсоюз) горнорабочих.

3 Сибревком. Сборник документов. Новосибирск. 1959, стр. 171.

Сибири. Это достижение нами рассматривается как очередной подвиг рабочего класса, его крупная победа на трудном пути восстановления промышленности в сибирских условиях. Химическая промышленность Сибири открывает двери для использования неисчерпаемого естественного богатства края. Особое значение открытие завода имеет для нас еще потому, что в его строительстве, как и над разработкой земельных богатств Кемерово, героически трудится американская индустриальная колония рабочих во главе с преданными рабочему классу инженерами. Это ядро американских товарищей доказало на деле полную возможность международного объединения рабочего класса, совместное творчество новой жизни без угнетателей-капиталистов. Сиббюро и Сибревком верят в успех начатого преобразования сибирской промышленности¹. Зная, какое горячее участие принимал в делах АИКа В. И. Ленин, управляющий делами СНК СССР Горбунов прислал в Кемерово следующую телеграмму:

«Пуск Центральной электрической станции, химического завода, коксовых печей является крупным достижением. Поздравляю победой на хозяйственном фронте»².

Эта победа была тем более значительной, что некоторые работники прежнего владельца предприятий Кузбасса — акционерного общества Копикуза — всячески старались ставить айковцам палки в колеса.

Акционерное общество Кузнецких каменноугольных и металлургических предприятий (Копикуз) возникло в 1912 году в основном на базе франко-германского капитала.

В 1913 году Копикуз начал строительство ж. д. линии Юрга — Кольчугино с ответвлением Топки — Кемерово. Тогда же началось сооружение Кемеровского химзавода, шахт «Владимировская», «Южная» и «Центральная» на Кемеровском руднике. Копикуз намеревался строить металлургический завод на Тельбесе. На предприятиях Копикуза насчитывалось до 8000 рабочих (1918 г.).

В погоне за сверхбарышами копикузовцы хищнически эксплуатировали природные богатства Кузбасса. Именно они истребили сосновый бор в районе Салаира, вырубив его на шпалы и шахтную крепь. В 1920 году, сразу же после восстановления Советской власти, все предприятия Копикуза были национализированы и переданы народу.

Строительство Кемеровского химзаво-

да, начатое Копикузом, было принято АИКом в страшно запущенном состоянии. Крупные капитальные здания химзавода и коксовых печей были заполнены водой, льдом и мусором. Стены потрескались. Установленные в этих зданиях сложные машины и части заржавели и осели.

Правлению АИК, принявшему химзавод, стало известно, что много материалов, заказанных за границей, в Петрограде, на Урале и на Юге России, бесследно исчезло.

Журналист А. Кручина в своей статье «Американская колония «Кузбасс» торжественно открыла Кемеровский химзавод», опубликованной в анжеро-судженской районной газете «Коммуна» 7 марта 1924 года, сообщал: «Любопытно, что накануне пуска турбогенератора какие-то таинственные «доброжелатели» пытались разрушить завод. В щелях некоторых насосов и главной оси были обнаружены песок и цемент, внутри самого турбогенератора — куски железа. Предусмотрительность американских товарищей предупредила катастрофу и спасла плоды напряженного и упорного труда колонии».

Рассмотрев производственную программу, смету и финансовый план АИКа Кузбасса на 1924 год, Президиум Госплана СССР 23 октября 1923 года предложил Сибгосплану и Сибревкому «принять все меры к обеспечению этой колонии возможно благоприятной обстановки».

Председатель Госплана Г. М. Кржижановский считал необходимым «поддерживать АИК и оказать ей максимальное внимание, так как она является первой рабочей колонией в России и имеет в этом отношении громадное международное значение»¹.

Сиббюро ЦК РКП(б) постоянно держало в поле своего внимания Кемеровский район Кузбасса. Еще в мае 1922 года оно признало необходимым «ввиду сложности обстановки в Кемерове и в связи с приездом (туда) американских рабочих» рекомендовать Томскому губкому партии заменить секретаря Кемеровского РК РКП тов. Дубасова другим, более подходящим партработником. Тогда «нужен сильный, тактичный товарищ», — советовало губкому Сиббюро ЦК РКП(б)².

Вскоре секретарем Кемеровского райкома партии был избран опытный партийный работник, делегат XIII съезда РКП(б) В. А. Черных.

Профсоюзный комитет на Кемеровском руднике в те годы возглавлял один из организаторов и руководителей профсоюза горнорабочих Западной Сибири А. А. Бутолин, член КПСС с 1905 года.

¹ Сибревком. Сборник документов. Новосибирск, 1959, стр. 172.

² Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПАИМЛ), ф. 19, оп. 4, д. 147, л. 176. Подлинник.

¹ ПАКО, ф. 14, оп. 1, д. 242, л. 18.

² Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф. 1, оп. 9, л. 6, л. 46.

Сибирские краевые организации повседневно занимались делами АИКа. Приводим одно из многочисленных документов Сибревкома по АИКу:

«В Совет Труда и Оборона».

На основании своего постановления от 1 августа с. г. Сибревком ходатайствует перед СТО об оказании помощи автономной американской индустриальной колонии Кузбасса дальнейшей поддержки в развитии ее операций, т. к., несмотря на неимоверно трудные условия, автономная колония содействует восстановлению нашей угольной промышленности в Сибири (Кемеровский район) и, став уже на прочные ноги, вполне оправдывает возложенные на нее надежды¹.

Документы свидетельствуют, что АИК Кузбасса настойчиво добивалась улучшения показателей. За 1925 год угля на шахтах АИКа было добыто 772 520 тонн.

О движении вперед в делах АИКа свидетельствует и рост выработки угля на одного горнорабочего. Если в 1922 году один рабочий вырабатывал на упряжку 33,3 пуда, то в 1924 году — 49,6 пуда (на шахтах Кузбасстреста — соответственно 30,9 и 39,5 пуда на упряжку). Таким образом, производительность рабочего здесь была не ниже, чем в других районах страны, и значительно выше, чем в Кузбасстресте.

Средняя заработная плата рабочего в 1923 году составляла по АИКу — 32, 35 руб., по Кузбасстресту — 19, 85 руб. Выгодно отличалась АИК и дисциплиной труда. За 1924 год выходы на работу горнорабочих АИКа составляли 93 проц., Кузбасстреста — 74 проц.

АИК Кузбасса оказывала влияние не только на непосредственно ему подчиненные предприятия, но благотворно воздействовала на общий подъем экономики и культуры Кузбасса. Крестьяне села Горкина, например, в 1924 году задумали построить свою небольшую гидроэлектростанцию на реке Ур. Правление АИКа по их просьбе оказало помощь материалами, и вскоре сельская электростанция заработала.

Высокими деловыми и моральными качествами обладал руководитель Правления АИКа Кузбасса С. Ю. Рутгерс (1878—1963 гг.) и его ближайшие помощники.

Голландский коммунист С. Ю. Рутгерс за время работы в Кузбассе пользовался большим уважением и доверием местного населения, рабочих коллективов и партийно-советских органов. Он был избран членом Кемеровского райкома и Щегловского уездного комитета партии, а с 1924 по 1927 год — членом Кузнецкого окружного ВКП(б). Избирался неоднократно делегатом районных, уездных, окружных и губернских партийных конференций.

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 4, л. 147, л. 171.

Активное участие в общественно-политической жизни Кемерова (тогда еще Щегловска) принимали и другие колонисты. Они избирались в различного рода хозяйственно-конфликтные комиссии, вели активную работу в профсоюзе. В 1923 году несколько колонистов были избраны в состав Щегловского городского Совета (П. А. Фальковский, И. Ф. Райнис, А. И. Тикка и И. Ю. Прейкшасс).

В декабре 1922 года по инициативе уездных организаций в Кемерове проводилась «неделя уюта красноармейца». Иностранцы рабочие приняли в ней активное участие. Они собрали много обуви, белья, бумаги почтовой и т. д., а также 21 000 руб. деньгами¹.

В начале 1924 года уездный исполком открыл школу для обучения колонистов-иностранцев русскому языку. Взрослые и пожилые люди охотно посещали эту школу. Для обучения детей колонистов в Кемерове была открыта школа, в которой уроки велись на английском языке. По просьбе родителей в этой же школе велось обучение детей иностранцев и русскому языку. Некоторые родители направляли своих детей в обычные русские школы.

Буржуазная пропаганда на Западе распространяла разного рода небылицы об американцах, уехавших в Сибирь. В конце марта 1923 года одна из беспартийных американок получила письмо из Америки с запросом, действительно ли в колонии такое положение, что американские рабочие, поехавшие в Кузбасс не из-за хороших условий жизни и оплаты труда, а из-за желания поднять производительность и поделиться своим опытом, не имеют возможности этого сделать, ибо в колонии существует диктатура Рутгерса, нет никакого рабочего контроля, и американские рабочие представляют из себя исключительно рабочую скотину².

Рассказывают, что американка, получив такое письмо, в сильном возмущении написала ответное письмо, в котором, отчитав автора послания, рассказывала об истинном положении дел и жизни американских рабочих в Кузбассе. Недоброжелатели за рубежом подняли большой шум вокруг одного трагического случая.

В воскресенье, 20 мая 1923 года, во время переправы на реке Томи, которая разделяла г. Щегловск и Кемерудник, по вине подвыпивших людей перевернулась лодка, изготовленная по проекту инженера-строителя Баарса, начальника технического бюро АИКа. Часть людей удалось спасти, а 17 человек утонули.

Нашлись люди, свалившие вину за

¹ ПАКО, ф. 14, оп. 1-а, л. 195, л. 1.

² Там же, л. 228, л. 26.

этот случай на американцев, т. к. переправу держало хозуправление АИКа. 9 июня 1923 года в Московской «Рабочей газете» появилась злопыхательная заметка. Буржуазная пресса быстро ее подхватила, против АИКа началась клевета. Работники нью-йоркской конторы были даже арестованы.

Разобравшись в причине трагического случая и убедившись, что американцы совершенно не виноваты, Кемеровский райком партии, рудком профсоюза и рудоуправление написали письмо редактору «Рабочей газеты». Оно очень трезво оценивает обстановку. Приводим его полностью¹.

Редактору «Рабочей газеты»
тов. СМIRНОВУ

Дорогой товарищ!

Одновременно с посылаемым рудоуправлением официальным опровержением заметки о погибших при переправе через реку Томь 40 человек («Рабочая газета», № 125, 9 июня 1923 г.) мы считаем уместным в нескольких словах сообщить Вам о том, какое огромное политическое значение имеет эта заметка, характеризующая действия колонии Кузбасса. Американская буржуазная пресса, которая не перестает вести травлю колонии Кузбасса, несомненно, сумеет использовать этот материал и приобщить его к делу арестованного в настоящее время в Америке Комитета колонии в количестве 9 человек.

Как Вам известно, колония Кузбасс в Кемерове является организацией американских рабочих, приехавших в Советскую Россию для того, чтобы помочь русским рабочим укрепить и восстановить хозяйство республики Советов. По имеющимся у нас точным сведениям за годом работ в колонии с напряженным вниманием следит пролетариат Америки и Западной Европы, и, конечно, заинтересован в том, чтобы в работе этих групп не встречались никакие ненормальные явления. В то же время мы видим, что американская буржуазия и в особенности охотники до концессий с таким же вниманием наблюдают за колонией и они, несомненно, заинтересованы в такой же мере в обратном.

Вполне сознавая, какую громадную ответственность перед Коминтерном и всем пролетариатом несет эта небольшая группа рабочих, мы просим Вас осторожнее относиться ко всякого рода заметкам по поводу колонии, тем более, что враги колонии и в России в лице бывших владельцев копей также ведут травлю против колонии и имеют, очевидно, здесь своих агентов.

Для нас совершенно ясно, что эта за-

метка написана именно с целью подорвать авторитет колонии и возбудить национальную вражду в колонии. Не говоря уже о том, что в заметке факты подтасованы и извращены (по данным следственных органов погибших не 40 человек, а 17), для Вас станет совершенно очевидным, что от начала до конца вся статья проникнута национальной ненавистью к американцам, что подчеркивается в заметке несколько раз.

С коммунистическим приветом
президиум райкома РКП,
президиум райкома ВСГ, рудоуправление

Это письмо еще раз подчеркивает ту ответственность, с которой отнеслись наши люди к ленинской идее организации иностранной рабочей помощи русскому пролетариату в наиболее тяжелые для него дни. Оно свидетельствует о понимании местными работниками высокого назначения Автономной Индустриальной Колонии Кузбасс.

Американские специалисты и рабочие успешно справились с делом, за которое они взялись добровольно. До сих пор в городах Кузбасса Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком стоят и действуют жилые дома, здания школ и культурно-бытовых учреждений, построенных руками аиковцев.

Многие бывшие аиковцы участвовали в 30-х годах в сооружении гиганта черной металлургии на Востоке страны — Кузнецкого металлургического комбината. Успешно выдержали экзамен аиковцы в ходе строительства и пуска в эксплуатацию Кемеровского коксохимического завода, угольных шахт и других предприятий Кузбасса.

Рука об руку с американцами работали русские инженеры и техники. Восстановление и реконструкцию Гурьевского металлургического завода возглавили инженер Г. Е. Казарновский, инженер-горняк Н. И. Горячев, приглашенные АИКом из Донбасса, и другие.

Высокую оценку деятельности АИКа Кузбасса дал побывавший здесь в августе 1924 года Том Манн, один из организаторов и вождей английской компартии. Когда Том Манн приехал в Кемерово и побыл здесь несколько дней, его спросили: «Какое впечатление оставила у Вас американская индустриальная колония?»

Том Манн ответил:

— То, что я видел в Кемерове, приятно поразило меня. Шахты работают сравнительно хорошо. Я побывал на шахтах; видел знаменитый Волковский угольный пласт мощностью в 42 фута, который произвел на меня сильное впечатление. Мощность угольных пластов в Англии не превышает 6—7 футов. Я посетил также химический завод. За шесть месяцев работы в нем совершенно грандиозное дело. Видно, что рабо-

¹ ПАКО, ф. 14, оп. 1-а, д. 228, л. 283.

чие являются хозяевами своего производства и умеют управлять им»¹.

Сыграв большую роль в возрождении промышленности Кузбасса, АИК, однако, только своими силами не могла уже решать гигантские задачи индустриализации. Требовались другие масштабы, другая организационная форма руководства социалистической промышленностью. 19 ноября 1926 года Советское правительство приняло постановление о подчинении АИК Кузбасса ВСНХ СССР. В постановлении подчеркивалось, однако, о сохранении АИК как производственного объединения. В 1927 году на смену АИК Кузбасса пришло Государственное объединение каменно-угольной, металлургической и химической промышленности Кузбассуголь, возглавивший решение грандиозных задач дальнейшего промышленного развития Западной Сибири и его основного индустриального очага — Кузнецкого бассейна.

АИК Кузбасса не просто прекратила свое существование, она дала жизнь новым дебрям. Многие аиковцы продолжали и дальше трудиться на земле Кузнецкой.

В числе аиковцев был Байскич Живко Витаирович (Георгий Викторович). Серб по национальности (родился в с. Чента округа Ванат в Югославии), он до первой мировой войны эмигрировал из Югославии в Америку, там в 1911 году вступил в ряды рабочей партии, а из Америки в 1922 году вместе с другими приехал в Кемерово. Здесь вскоре он вступил в члены Коммунистической партии. Г. В. Байскич участвовал в сооружении многих шахт Осинниковского и Прокопьевско-Киселевского угольных районов. Он окончил Томский индустриальный техникум. Строил шахту «Капитальная» в г. Киселевске, а потом стал ее главным механиком. За долголетнюю и самоотверженную работу Г. В. Байскич был награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, являлся ударником социалистического соревнования. Передовой рабочий, коммунист, он много работал над повышением своих знаний. В 1935 году окончил вечерний комвуз. Г. В. Байскич не дождался наших дней, он умер в 1952 году. В семье Г. В. Байскича бережно хранятся ордена и медали, многочисленные похвальные грамоты, свидетельствующие о его трудовом героизме. Жива и здорова жена Байскича, Любовь Елисеена. Она вырастила 7 детей. Награждена орденом «Материнская слава» III степени. Не посрамили отца-коммуниста его дети. Старший сын Александр Георгиевич, тоже коммунист, окончил горный техникум, сейчас работает механи-

ком участка шахты имени Вахрушева треста Киселевскуголь. Сын Владимир учится на вечернем отделении Кузбасского политехнического института.

Хорошо помнят шахтеры Кемеровского рудника по совместной работе Ивана Юрьевича Прейкшасса. Молодым паренком он уехал в 1907 году из Литвы в Америку. Работал там на угольных шахтах, вступил в Коммунистическую партию. В 1922 году приехал помогать Советской России и остался тут навсегда. Сначала И. Ю. Прейкшасс работал десятником на Владимировском уклоне, затем его выдвинули заведующим шахтой «Центральная» Кемеровского рудника.

После реорганизации АИК Кузбасса Прейкшасс остался в Кемерове и работал в рудоуправлении и снова на шахте вплоть до 1937 года, когда был необоснованно репрессирован. В 1956 году он был реабилитирован, к сожалению, постморти.

Дело отца продолжает его сын Евгений. Он закончил Кемеровский горный техникум и свыше десяти лет проработал на той же шахте «Центральная» главным энергетиком. Сейчас Евгений Иванович на пенсии. Все дети его учатся, старший сын, внук бывшего аиковца, Артур, — студент Пермского электротехнического института.

На Кемеровском коксохимическом заводе и поныне работает (заместителем начальника бензолно-нафталинового цеха) бывший аиковец Ф. Ф. Грунд. Простой рабочий из Нью-Йорка в Советском Союзе окончил технический вуз (Томский политехнический институт, в 1936 году). Инженер Ф. Ф. Грунд вернулся на ставший родным химический завод и все эти годы работает в большой и дружной семье старшего сибирского коксохимического предприятия. Здесь он пользуется заслуженным уважением и авторитетом. Медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», значок «Отличник социалистического соревнования». Почетная грамота Кузбасского совнархоза и другие награды свидетельствуют об этом.

Активное участие в общественно-политической жизни принимает жена тов. Грунд. Врачом стала после окончания Кемеровского медицинского института дочь Ф. Ф. Грунда — Эрна. На третьем курсе факультета иностранных языков Кемеровского педагогического института учится другая дочь Ф. Ф. Грунда, активная комсомолка Энель.

На предприятиях Кузбасса продолжают трудиться другие бывшие аиковцы и их потомки. Полноправные советские граждане, они участвуют в коммунистическом строительстве.

А. МАЗЮКОВ.

¹ Анжеро-судженская районная газета «Коммуна», 1924, 18 августа.

ОКТАБРЬ В КУЗБАССЕ

В ноябре 1917 года установилась власть Советов в наиболее крупном тогда промышленном районе Кузбасса — на Кольчугинском руднике (ныне г. Ленинск-Кузнецкий). Первым актом новой власти явилось создание Красной гвардии. Однако Советская власть продержалась недолго. В июне 1918 года на руднике уже хозяйничали белогвардейцы.

Многие шахтеры-кольчугинцы сражались за установление своей власти в прославленном красногвардейском отряде П. Ф. Сухова. В марте 1919 года они с оружием в руках восстали против колчаковского режима (мартовское восстание).

Когда в конце декабря 1919 года колчаковский режим рухнул, на Кольчугинском руднике (17 декабря 1919 г.) состоялось собрание рабочих и служащих, на котором был избран Совет рабочих депутатов. Через два дня, 19 декабря 1919 года, на организационном заседании Совета почетным его председателем был избран В. И. Ленин.

* * *

До Щегловска (Кемерово) Октябрь докатился только в декабре 1917 года.

В обстановке упорной борьбы с меньшевиками и эсерами большевики, солдаты-фронтовики в декабре 1917 года провели два волостных съезда Советов, и только на третьем съезде, в январе 1918 года, была одержана победа — объявлена власть Советов.

9 мая 1918 года село Щеглово было преобразовано в город. В июне 1918 года Совнарком РСФСР утвердил это преобразование.

10 мая 1918 года открылся 1-й Щегловский уездный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Съезд избрал исполком Совета из 17 человек во главе с председателем С. Руковишниковым и секретарем Р. Хомутниковым.

На второй день после освобождения от

колчаковцев, 26 декабря 1919 года, в Щегловске был образован уездный революционный комитет. Председателем назначен политработник 35-й дивизии Красной Армии П. Н. Старостин. В эти же дни здесь организовался партийный комитет большевиков. Ревком в Щегловске существовал до 23 мая 1920 года, когда на уездном съезде был избран Совет депутатов.

* * *

В городе Кузнецке Совет рабочих и крестьянских депутатов был организован в марте 1918 года. Во главе Совета стал большевик, участник ленских событий 1912 года А. Г. Петраков. В начале июня 1918 года, т. е. через два с небольшим месяца, Советская власть после белочешского мятежа пала.

Однако борьба за народную власть продолжалась. Ее вели красногвардейские отряды, партизаны. На территории уезда действовало несколько партизанских отрядов и групп.

2 декабря 1919 года Советская власть в Кузнецке была восстановлена. Во главе уездного ревкома стал рабочий-шахтер Прокопьевского рудника Афанасий Иванов.

* * *

В Марининске раньше, чем в других местах Сибири, 24 мая 1918 года, вспыхнул мятеж белочехов. Крестьяне Марининского уезда поднялись на вооруженную борьбу с установившимся режимом временного эсерово-меньшевистского белогвардейского правительства. В конце октября 1918 года в с. Чумай вспыхнуло крестьянское восстание. К чумайцам примкнули крестьяне всех соседних сел. Восстание крестьян было жестоко подавлено. Многие его участники расстреляны, посажены в тюрьмы. Но основная масса участников восстания сорганизовалась в партизанские отряды, которые помогли Красной Армии разгромить колчаковщину. 28 декабря 1919 года при содей-

ствии командования 27-й дивизии в Мариинске был образован ревком. До мая 1920 года ревком осуществлял функции Совета депутатов. 30 декабря здесь состоялось первое легальное собрание коммунистической ячейки, на котором присутствовало 36 членов партии.

* * *

В декабре 1917 года образовался Совет рабочих депутатов на Яшкинском цемент-

но-известковом заводе. В феврале следующего года собрание рабочих этого завода заявило о полной поддержке Советской власти:

«Мы, рабочие, приветствуем Советскую власть и будем поддерживать всеми силами нашей рабочей семьи вплоть до выступления с оружием в руках на защиту рабочего и крестьянского правительства», — говорится в резолюции яшкинцев.



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

...первая в Кузбассе газета вышла 2 апреля 1917 года в городе Кузнецке (ныне Новокузнецк). Называлась она «Кузнецкий край».

В начале 1918 года стала выходить своя газета «Звено» и в другом уездном городе — Мариинске.

В период колчаковщины обе эти газеты были закрыты.

...там, где печально знаменитый сибирский тракт пересекал реку Кию, стояло большое старинное село Кийское. В 1857 году оно было преобразовано в город. Городам в то время давались имена членов царской фамилии или видных сановников. Новый сибирский город был назван Мариинском — в честь жены императора Александра II — Марии Федоровны.

...первыми орденоносцами-кузбассовцами являются Василий Павлович Соснин и Егор Андреевич Евдокимов. Каждый из них получил орден Красного Знамени за участие в подавлении эсеров-белогвардейского мятежа в Кронштадте в марте 1921 года.

До ухода на фронт в 1942 году В. П. Соснин работал председателем колхоза «13 лет Октября» Тисульского района, а Е. А. Евдокимов крестьянствовал в Крапивинском районе.

...20 мая 1928 года был открыт первый в Кузбассе Верхотомский дом отдыха. Первыми отдыхающими в нем были шахтеры, химики и строители Кемерова.

...в 1923 году в Сибири было образовано Общество друзей воздушного флота. За год в Общество вступило 80 тысяч человек. Самолетов же в 1924 году в Сибири было всего-навсего одиннадцать. Каждый самолет имел собственное имя: «Сибревком», «Сибирский рабочий», «Комсомолец Сибири», «Красная сибирячка» и др....

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. АБРАМОВИЧ

Заметки о поэзии

1. ГЕРОИ НАШИХ ДНЕЙ

Поэтический «урожай» кузбасских литераторов в последнее время был обильным. Только в сборнике «День поэзии» 34 автора опубликовали свыше 80 стихотворений. Помимо этого, Кемеровским книжным издательством изданы книжки Геннадия Юрова «Синий факел», Виктора Гюнтера «Одолжите мне день...», Александра Пинаева «Синегорье», Владимира Матвеева «Букет шипов» и другие.

Темы и образы кузбасских поэтов — самые разнообразные. И, разумеется, не все стихи художественно зрелы (это — тема второго раздела). Однако невозможно пройти мимо главного достоинства произведений кемеровских, кузнецких и других поэтов: всех их в первую очередь интересует герой наших дней, его мысли, чувства, дела, побуждения. И герой этот раскрывается в самых различных ситуациях: то лирических, то романтических, то в поступках, то в размышлениях, иногда принимающих философский характер. И прежде всего бросается в глаза та черта морального облика героя, которая действительно свойственна человеку нашего общества: ненависть к равнодушию, к обывательскому покою, может быть, удлинняющему жизнь, но лишаящему ее полнокровного восприятия красоты, могущества и высокого значения труда не только как необходимости, но и как естественной потребности, призвания. Об этом хорошо сказал поэт Осип Концевой из г. Юрги в стихотворении «Ответ равнодушным»: «Мне ненавистны души равнодушных. Подлее этих душ на свете нет. Когда неправда где-то правду душит, весь этот гнус хранит нейтралитет!».

Труд во имя призвания, труд, как внутреннего душевного необходимости, труд, понимаемый как органическое соединение человека с обществом, — вот тема, которая пронизывает все сборники и абсолютное

большинство произведений поэтов. И когда сравниваешь все, что ими написано сейчас, с тем, что создавалось ранее, даже всего лишь два года тому назад, видишь, как зреет, развивается тема важнейшего значения. Теперь не встречаются стихи, в которых поэты восторгались бы грандиозной стройкой, техникой и забывали бы о человеке или отодвигали его на задний план. Нет, теперь поэты, в том числе работающие на Запсибе, в шахтах, ведут успешные поиски и разыскания, стремясь показать нам характер труженика, его сложность и красоту, а подчас и противоречия, побеждаемые любовью к своей работе.

Не может не привлечь внимания стихотворение бывшего откатчика на шахте Виктора Гюнтера «В доме отдыха». Его герой — человек не только прямой, но и грубоватый. Его возмущают профаны, для которых издали «на шахте труд красив». Он не прочь выпить «полбанки» и заявить, что работает под землей лишь потому, что там «подходяще платят». И в то же время поэту удалось показать, как первая вспышка радости отдыхающего на черноморском побережье рабочего быстро потухает от тоски по той самой шахте, которую он так ругал, и какой искренний монолог обнаруживается в споре шахтера с одним из отдыхающих: «Ты море черное угля видал? Оно для нас красивей в тыщу раз... Вот пишут парни, вскрыли новый пласт... А мне тут загорать еще неделю!..».

Рабочий человек не склонен приукрашивать. Труд — не забава. Он требует всей душевной страсти, ему нужна вся твоя физическая сила, умение и сноровка.

Образ такого труда воплощен в стихах Виктора Баянова «Песнь о хлебе», Евгения Буравлева «Работа», «Корабельный гвоздь», Михаила Небогатова «Шахтер», Павла Мертвецова «Горновой», Александра Зайце-

ва «Золотая осень», Герберта Генке «Трас-са» и во многих других. Причем труд всегда романтичен, всегда устремлен вперед. Иногда романтическое видение мира выражено, как у Леонида Сербина («Романтики»), в пафосе, взволнованной интонацией, а иногда — в представлении о том, как из «малого» слагается великое. Валентин Павлов («Дует пурга...») очень взволнованно изобразил человека «незаметной» профессии — стрелочницу на глухом полустанке. Где-то вдали расположился весь огромный мир.

Там вагоны мигают
заманчиво,
барабаны на стыках рельс
и уносят куда-то
романтиков,
оставляя романтику здесь.
А она
с флажком,
незаметная,
по колено стоит в снегу...

Можно было бы много написать о самом разнообразном решении темы героя современности в произведениях кузбасских поэтов, но, может быть, сейчас более уместно сказать о лирическом звучании их стихов, потому что труд и лирика — неразделимы, и любовь, дружба, товарищество, эстетическое восприятие жизни все более начинают интересовать литераторов южной Сибири. Как характерные, хочется выделить стихотворения Александра Пинаева «Руло тэ руло» и Тамары Ян «Варюха».

В произведении Пинаева есть некоторые просчеты — прежде всего растянута в решении темы, повторение основного идейного мотива. И тем не менее оно как-то неуловимо, но крепко берет за душу. Вначале трудно разобраться, в чем тут дело. А потом чувствуешь, как вариация известной озорной песни удивительно приходится тут к месту, как органически срастается с нею диалог девчат, едущих в совхоз на уборку, как из внешне непоследовательных возгласов проступают живые черточки характера, как заражает молодость, сила, счастье молодых их пожилого попутчика. Очевидно, «секрет» здесь в усилении лирических нот вариации, в добром юморе автора, в глубине размышлений. Да, мы представляем себе как бы новую песню с популярнейшим мотивом и с открытой душой воспринимаем такие искренние строки: «Стало на сердце улыбчивей, лучше. Горы, распадки, багрянец берез. Старость ли учит? Юность ли учит? Руло тэ руло... Ответ на вопрос».

Думается, что душевная теплота, мягкий лиризм, легкий юмор объясняют, почему так удалось Тамаре Ян стихотворение «Варюха». Это произведение сюжетное, но сюжет его крайне незамысловатый. Полюбила девчонка «отпетого парня», «всесветного врая», отчаянного верхолаза, работающего без предохранительного пояса. Уговари-

вают подруги Варю отказаться от непутевого ухажера. Бесполезно. Сложна жизнь, — читаем мы в подтексте поэтессы, — не по директивам, не из формальным нормам складывается она. Сколько людей, столько и характеров. Сколько сердец, столько и родов любви. Подлинно живая стоит перед читателем девчонка, своенравная, самоуверенная, обаятельная, очень хорошо чувствующая, чем она дорога любимому. Она лукава и добросердечна, вся ее натура раскрыта в ответе на уговоры подруг:

Моего дорогого не шибко корите.
Погодите чуток —
 не сегодня, так завтра
будет он говорить только чистую правду.
будет пить из стакана
 только чистую воду.
Будет только меня
 дожидаться у входа.
И вверху, на ветру,
 где, как молния, сварка,
будет пояс крепить... Или Варька не Варька!

Советский человек хочет смотреть и смотрит на мир с высоты больших перспектив, раскрывающихся перед нашей страной. Поэтому он в частном ищет общее, и с этим общим сверяет свое повседневное.

Так, в уже упоминавшемся стихотворении Виктора Баянова «Песнь о хлебе» забота о нем, о ежегодно повторяющейся и каждый раз по-новому трудной борьбе за урожай верно понимается поэтом как всеобщее дело, как залог процветания и счастья людей. У него же, как и у многих других, и пейзажные картины включают в себя обобщающий смысл: раздумывая о судьбах людей над водопадом, герой поэта учится быть правдивым, честным и отважным.

Раздумья о настоящем и будущем нашего народа, о путях, ведущих вперед, охватывают у наших поэтов самые разнообразные сферы жизни. Это и поэтическая повесть о труде, накапливающим великие достижения человечества («Погонный метр» Анатолия Шишкина), о достоинстве и гордости рабочего человека, без которого не могла быть запущена ракета («Сварщик» Виктора Чурилова), о трудном, но бесконечном движении народа к своему будущему («Безмянные» Анатолия Саулова) и др. И как обобщение всех таких дум звучит в стихотворении Валентина Махалова «Огонь» мотив о неизбежной смене людских поколений, о наших предках, когда-то зажегших огонь, и о наших современниках, которые превратили его в ослепительное пламя трудового коммунистического творчества, дали нам крепость и мужество, смелость и дерзание, познание мира и полет ко все новым и новым его вершинам. И очень важно сейчас человеку «беречь огонь родного племени: костра священную звезду, огонь, к которому со временем я тоже греться подойду. Тепло великого со-

II. ПОЭТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ — ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО

Не трудно заметить поэтические искры в двух произведениях Степана Торбокова «Таяжная речка» и «Душа зовет», где можно представить себе и природу Горной Шории, и человека, живущего чувствами и мыслями о своем родном крае. Однако такое стихотворение поэта как «Признание» невозможно представить себе ничем иным, как именно декларацией, сложенной стихами. И дело здесь не в качестве перевода, он очень хорошо выполнен Михаилом Небогатовым. Дело — в самом замысле. В нем верная мысль о единении шорского народа с Москвой, т. е. со всей Советской страной, не нашла своего поэтического выражения:

С детских лет в тайге живу,
По траве хожу...
Не во сне, а наяву
На Москву гляжу.
В шуме улиц, площадей
Горный человек
Столько радостных людей
Не видал вовек!

Таковы начальные строки стихотворения, но и все оно выражено этим же прозаическим приемом изложения верной мысли, но не в поэтическом, образном плане, а декларативно. И не случайно поэт сам чувствует слабость своих стихов: «Ты прости, Москва, что от счастья растерял лучшие слова». А как раз такие «лучшие», следовательно, поэтические слова и не нужно было терять.

К описательству, иллюстративности толкают явления, взятые в их конкретном выражении, но не озаренные поэтической идеей. В одном случае («Сварщик») Виктор Чурилов нашел и поэтическую тему, и поэтические образы. Он убедительно показал, что в труде рабочего скрыт огромный смысл, что в космосе «летит корабль, надежно сшитый его волею и мыслью». А в другом случае («На снокоесе») он дал прозаическую иллюстрацию к весьма благородному представлению о том, как важен сельскохозяйственный труд и как хорошо, что шефы помогают колхозникам на снокоесе. Поэт думал, что картина работы в поле сама собой все разъясняет и во всем убеждает. А на деле она превращается в натуралистическое описательство:

Кони ходят,
 ходят,
 ходят
То до стога,
То к валку.
Соревнуются в работе —
 волокуши волокут.

Все стихотворение выдержано в таком же духе. Причем в только что приведенных строках поспешно выбранные автором слова порождают двусмысленность о содержании: думается, что в работе могут соревноваться только люди, а кони, очевидно, на это явно не способны.

Минуя другие просчеты в стихотворениях кузбасских поэтов, хотелось бы остановиться еще на одном, очень распространен-

ном недостатке — на невзыскательном, подчас пренебрежительном отношении к слову-образу, к образным выражениям, т. е. к художественной детали. Дело в том, что замыслы, темы в стихах наших авторов, как правило, очень важные и нужные. Многие поэты хорошо представляют себе и действие неумолимого закона единства поэтической идеи и поэтической формы. И все же в ряде случаев содержание «опережает» форму, довольно часто некоторые авторы забывают о ней или думают о том, что такое «опережение» вполне естественно: «есть что сказать, а раз так, то все, что нужно, — скажется».

Речь идет, конечно, не о том, что абсолютное большинство кузбасских поэтов не «ломают» устоявшихся форм, подобно некоторым прогремевшим поэтам. У каждого есть неотъемлемое право писать размерами силлабо-тоники, или акцентным, или белым стихом, или используя бесчисленные вариации различных систем стихосложения. Речь идет о том, чтобы избранная художником форма наиболее полно раскрывала поэтическое содержание. А просчетов в этой области у нас немало.

Вначале хочется сказать о том, какие детали оказываются действительно художественными. Вот лишь один из примеров — стихотворение Виталия Юречко «Весеннее небо даль голубит...». Оно очень простое и безыскусственное. Вот перед нами пейзаж — голубое небо, дорога, окаймленная зеленым кружевом травы. И вот яркое воспоминание о войне — валяющийся штык, отсвечивающий на солнце ржавым огнем. Однако не этот реальный след войны создает самое глубокое впечатление о прожитом, рождает мысли о сегодняшнем и будущем, а такая действительно совершенно конкретная и в то же время типическая деталь: «И божья коровка, сползая, на нем (речь идет о штыке) — как теплая капля крови». И не нужно дальше никаких деклараций об опасности войны и пр. Художественная деталь все сказала. Она рождает в сердце читателя множество мыслей, которые в своей сокровенной сущности куда богаче, чем любые «поэтические» возгласы, чем любые риторические изъяснения.

А между тем именно такая риторика довольно часто подменяет художественные образы, как правило, знакомя читателя с тем, что уже известно и само собой разумеется.

Например, в стихотворении «Металл» Глеб Холоднин размышляет на тему о том, куда пойдет этот металл, который еще только летит или куется? Придя к выводу, что его, возможно, используют на создание межпланетного корабля, автор заканчивает свой стих утверждением истины, не требующей никаких доказательств: «Он создан нашими руками, и нашей воле подчинен». Из этого следует, что автор

пренебрег поэтическим подтекстом, в котором любой читатель распознает и более сложные истины. Обычно поэты (да и прозаики) стремятся придать концовке своего произведения ударный идейно-поэтический смысл. В стихотворении «Металл» концовка вялая, рассеивающая впечатление.

Не всегда взыскательно относится к поэтической форме и Михаил Субботин. В стихотворении «Шорские деревни», рисуя бедность и несчастья горных жителей, поработанных до революции, он дает емкую образную деталь: «Я гляжу, и кажутся деревни гневными обломками мечей». И в этом же стихотворении у него есть образ, казалось бы, более эффектный, бросающийся в глаза, а на самом деле — не точный, только приблизительный, а потому и разрушающий впечатление: «Сизый дым над поездом трепещет, завиваясь в кольца, как живой...» Кто живой? Завиваются в кольца змеи, но нам неясно — их ли имел в виду поэт, а может быть, что-нибудь другое?

Не точных, слабо выверенных деталей у наших поэтов порядочно. Хорошее стихотворение Евгения Буравлева «Лишь бы люди богаче» не украшают две строки, в которых внешняя образность господствует над ясным смыслом: «Да обломки спиралей — заверченных жизнью дорог». У Виктора Гюнтера («Актриса») в строках «а режиссер сулит большую роль, но провожать пытается...» нет художественной, да и обычной логики: причем здесь «но»? Слабо отработаны строки «дерево все истомилось жадой звука! Ясно поющего, чистого, нежного» (Владимир Измайлов. «Дерево, из которого сделали столб...»). Звук, ясно поющий, — звучит неловко. Одобрав стихотворение «Ответ равнодушным» (Осип Концевой) в целом, нельзя пройти мимо того, что в одном четверостишии пафос ненависти к злumu и пафос утверждения всего доброго «вдруг» сменяется прозаической скороговоркой: «Еще на нашей голубой планете орудует немало подлецов! Еще идет борьба за счастье Кубы, за мирный труд и за покой в домах». С нарушением логики написаны Валентином Махаловым такие строки: «Он был фанатик и поэтому у нас внимания просил...» («Я помню старого мечтателя...»). Человек проявляет фанатизм вовсе не в том, что просит внимания.

Вряд ли нужно увеличивать количество примеров. Важнее просто призвать поэтов к большей взыскательности, к тщательной работе над словом-образом, к неустанной борьбе против риторики, общих деклараций, которые могут быть хороши сами по себе, но не имеют отношения к искусству.

Поэтическая идея, поэтическое слово-образ, еще более смелая и глубокая постановка проблем современности и зрелое художественное мастерство — вот что даст толчок к дальнейшему развитию поэзии в Кузбассе.

■ Виктор Гонимор

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

— Так, говоришь, ни одного хулигана не задержал? — переспросил Ивана Ивановича начальник городского штаба народной дружины. — Плохо, товарищ Всевышкин. О порядке не печешься.

— Я... Я авторитетно заявляю, что в нашем районе нарушителей и... этих... а-а... отравленных алкоголем индивидуев нету.

— И «индивидуев» нет?

— Нету.

— Удивительно! У такой мощной дружины, как твои общепитовцы, — и ни одного задержания... — Начальник штаба лукаво блеснул глазами и повернулся к оживленной толпе представителей городских предприятий, заполнивших клубное фойе.

— Товарищи, перерыв кончился! Прошу в зал.

Слет дружинников Междугорска продолжался.

Сменялись на трибуне ораторы. О чем-то докладывали, в чем-то заверяли, что-то предлагали...

Но Иван Иванович всего этого уже не слышал. Он так и остался стоять посреди опустевшего фойе, тупо глядя в ту его часть, где недавно находился начальник штаба. Потом разбитой походкой спустился с лестницы и вышел из клуба, забыв в гардеробе шляпу.

Кое-как Иван Иванович добрался до возглавляемой им закуской «Грошцена» и, не обращая внимания на замешательство подавальщиц Саши, Ма-



САТИРИ ЮМОР

ши, Глаши и Параскевы, застигнутых врасплох за разучиванием песни о девчонках, которые танцуют на палубе, прямо прошел в свой «кабинет» — закуток, отгороженный фанерой от «горячего цеха» — кухни. В закутке с трудом помещался сам Иван Иванович, стул, стол и красочный плакат, на котором веселый обжора Гаргантюа, наряженный вопреки исторической правде в синий комбинезон, запихивал в рот нечто напоминающее аэростат воздушного гражданства и еще ухитрялся при этом призывать:

«Потребляй сосиску и кусай
сарделю —
Месячную норму выдашь за
неделю!»

Товарищ Всевышкин протискался за стол и металлическим голосом вызвал верного своего помощника — Всеслава Терентьевича Муравейчика, фигурировавшего в штатном расписании под рубрикой «Зав. производством».

— Так вот какие дела, товарищ Муравейчик, — сосредоточенно рассматривая пресс-папье, начал Иван Иванович, — такие вот дела. Закрой-ка дверь... Присутствовал я сейчас ТАМ... Указали нам, товарищ Муравейчик: плохо, говорят, работаем... А-а... не соответствуем.

— Резкое снижение посещаемости нашего предприятия общественного питания человека-едоками за последнее время объясняется резким повышением среднесуточной температуры и...

— Не... а-а... не гунди! Не на отчетном собрании. Не в едоках вопрос. В нашей дружине вопрос. Сколько задержаний, а?

— Не улавливаю, товарищ заведующий... Отсутствие задержанных нарушителей объясняется присутствием высокой сознательности...

— Не гунди! Не на отчетном собрании. Везде есть, а у нас нет. Пробел в ассортименте! Не соответствуем!..

— Но если нет нарушителей, то невозможно...

— Для нас нет ничего невозможного! «Нам нет преград ни в море, ни...» вообще... Заруби это себе на а-а соответствующем месте. Нужно изыскать скрытые резервы. Да, скрытые резервы...

Хулиган нужен. По большому счету. Для а-а... престижа производства, — и Иван Иванович пронзительно посмотрел на верного своего помощника.

— Я соответствовать не могу, — тут же выдвинул самоотвод Муравейчик. — Я человек семейный и... и прибавление ожидается...

— Субъективные причины? Личное выше общественного?.. Смотри, товарищ Муравейчик!

— Иван Иванович!..

— Ладно, ладно... Я это... а-а... шучу. Шутку я, значит, произнес... А кто у нас есть? Простокишина Ефросинья, повариха...

— Не подойдет, Иван Иванович: женщина. И потом, если ее изолировать от общества, то кто это общество будет обеспечивать нашей продукцией? Это вызовет...

— Ксенька, раздатчица...

— Не подойдет...

По различным причинам не подошли также кандидатуры подавальщиц Саши, Маши, Глаши и Параскевы, посудомоек, уборщиц и ночного сторожа деда Митрофаньича, кавалера медали за спасение на водах.

— Тогда только он, Иван Иванович, — палец Муравейчика уперся в перегородку. За перегородкой обитал бухгалтер «Грош-цены» Тихон Тихонович Змиев-Осьмиголовкин, человек бледный, очкастый, из породы безотказных. Люди этой породы до трех часов ночи единолично заполняют корявыми буквами сатирическую газету «Вилка в бок!» и по решению месткома ходят навещать заболевших сотрудников. Их первыми записывают в Красный Крест, в секцию любителей зимнего купанья и в общество друзей пресмыкающихся. И в праздничные дни, когда все сознательное население сидит за столами, они, эти безотказные, в грустном одиночестве слоняются по пустым конторам и решают кроссворды в старых «Огоньках». Это называется «дежурить по предприятию».

— Вот так, товарищ Змиев а-а... Осьмиголовкин... — начал Иван Иванович, когда очки бухгалтера робко блеснули в просвете двери, — посоветовались мы тут и решили оказать тебе доверие. Производству необходимо, чтобы ты на

некоторое время взял на себя обязанности... а-а... нарушителя общественного порядка...

Тихий бухгалтер с ужасом возрился на чугунную физиономию заведующего.

— Но я ничего такого, Иван Ваныч... А что, Иван Ваныч, полугодовой отчет еще не сдан, так я, Иван Ваныч, все силы... Я всю ночь. Иван Ваныч...

— Э-э... Не то... — поморщился Всевышкин, — производству на сегодняшний день ты нужен как передовой... Тьфу!... Как... а-а... прогрессивный... Короче, инициативный нарушитель... Ну, там тополек сломай, витрину разбей, к женщине... а-а... женщину, короче, преследуй... Но чтоб обязательно в нашем районе: проспект Первых Поселенцев — Малая Пенсионная. А если тебя на некоторое время изолируют — не паникуй. О жене и детях позаботится наш, здоровый в целом, коллектив. Я лично. На поруки возьмем. Вот так, товарищ Змиев.

Через полчаса Иван Иванович собрал весь свой «здоровый в целом» коллектив и выступил с речью, суть которой сводилась к тому, что ОТТУДА поступила директива усилить содействие органам охраны общественного порядка.

Речь Ивана Ивановича была встречена дружинниками-закусочниками с воодушевлением.

Сторож дед Митрофаныч немедленно же потребовал дополнительных ассигнований на приобретение ружейного масла. Повариха товарищ Простокишина, вспомнив свою фронтовую юность, вызвалась показать Маше, Саше, Глаше и Параскеве несколько приемов борьбы с вооруженным противником.

В семь часов вечера Иван Иванович Всевышкин занял свой пост у телефона. До полуночи он нервно курил, поминутно поглядывая на часы и вздрагивая при малейшем шуме с улицы. Однако дружинники во главе с Муравейчиком вернулись ни с чем. Нарушитель не появился.

— Та-ак, — зловеще произнес Иван Иванович. — Придется сделать оргвыводы.

И на утро, едва только несчастный бухгалтер попытался незаметно проскользнуть в свое убежище, его перехватил товарищ Муравейчик и предло-

жил немедленно проследовать к шефу.

— Значит, так? — начал Иван Иванович после паузы, бесконечной, как ночь перед судом. — Увиливаете, значит, гражданин Змиев тире Осьмиголовкин? Общественность оказала вам, а вы, значит, не желаете? Не горите? Душой не болеете? Я вынужден расценивать это, как... а-а... наплевизм...

— Иван Ваныч! — рухнул на колени исстрадавшийся Змиев. — Не могу я, Иван Ваныч! Рука не поднимется ни на топольки, ни на витрины! А уж на женщин! Освободите, Иван Ваныч! А уж что касается полугодового отчета...

— Освободить, говоришь? Можно и освободить... Что-то у нас давно сокращений штатов не было...

— Иван Ваныч!..

— Так как, будем делать оргвыводы?

— Не будем! Не будем, Иван Ваныч, делать оргвыводы, — прошелестел бухгалтер и заплакал. Он был очень впечатлительный. — Я... я постараюсь оправдать...

— Давно бы так... Ну, не это... а-а... не рыдай!.. Сейчас мы все это конкретизируем...

Из стола был извлечен лист бумаги, из «горячего цеха» призван верный помощник товарищ Муравейчик, и к концу рабочего дня был разработан детальный план операции:

§ 1. Ровно в 23 часа 30 минут гражданин Змиев-Осьмиголовкин, именуемый в дальнейшем «нарушитель», выйдет на проспект им. Первых Поселенцев и будет ломиться в запертые к тому времени двери гастронома «Снедь сибирская», издавая при этом нецензурные восклицания, как-то:

а) «Требую жалобную книгу!»;

б) «Гады ползучие!»;

в) «Открой, расшибу!».

§ 2. Последнее восклицание будет служить сигналом для дружинников — сотрудников «Грош-цены», сосредоточенных в подворотне дома № 45 по проспекту им. Первых Поселенцев и за углом — в Откатчиковом переулке. По этому сигналу дружинники бросаются, схватывают, обезвреживают и сопровождают нарушителя в соответствующее место.

§ 3. Товарищ Всевышкин И. И. лично наблюдает за ходом операции с балкона

своей квартиры, расположенной в доме № 47 по проспекту им. Первых Поселенцев.

§ 4. Нарушителю гражданину Змиеву-Осьмиголовику в 22 час. 00 мин. явиться в «Грош-цену» для последнего инструктажа.

§ 5. Довести до сведения сотрудников-дружинников § 2 настоящего плана.

Бухгалтер Змиев пришел в этот день домой с физиономией буро-зеленой, как пожухлая трава. Ни на кого не глядя, он сел к столу, опустил ложку в тарелку своего любимого супа с фасолью и просидел так до вечера. На вопросы встревоженной жены он не отвечал. В 21 час по местному времени он встал и умирающим голосом попросил собрать ему в чемоданчик чистые носки, зубную щетку, нитроглицерин и сигареты «Нирвана» (с фильтром).

— Тиша! — ахнула жена. — Опять на попозлку?

— Не спрашивай... Прощай... Может, долго не увидимся... Да... деток береги... — подавив подступившие рыдания, несчастный вырвался из объятий обезумевшей супруги, склонил голову и покорно понес свой чемоданчик на голгофу.

— Входи, входи, товарищ Змиев, — встретил его на пороге «Грош-цены» непривычно возбужденный Всевышкин. — Проходи, садись... Вот сюда, на мое место... Ты ж у нас сегодня... а-а... Персона! Хе-хе... кхм... Ты вот чего, Змиев... Ты пропусти-ка стакашку, чтоб лучше соответствовать... Мы тут ассигновали из профбюджета за счет подготовки кадров...

Иван Иванович величественным жестом поднял покрывавшую стол газету. В центре стола высились две бутылки «калгановой». Вокруг пестрели тарелочки с закусками.

— Я... я не пью, Иван Ваныч, — заикнулся было бухгалтер. — У меня печень... и...

— Надо, Змиев! Надо! И печень надо принести... а-а... на алтарь производства! Вот, закуси-ка молочной сосиской...

Терять Змиеву было уже нечего. Он покорно глотнул стакан чего-то теплого, горького и донельзя противного, сморщился и начал что-то жевать.

— Во-от! — удовлетворенно потер ру-

ки Иван Иванович и повернулся к суетившемуся рядом Муравейчику. — Пожалуй, и мы с тобой потребуем за успех... а-а... мероприятия? Ф-ф-фу-х-х... Ну, какова?

— Отменная крепость и превосходные вкусовые качества данного напитка имеют в своей основе...

— Не гунди! Не на конференции... А ты, Змиев, не впадай в панику! Не пристало нам, советским людям, бояться трудностей. Отсидишь недельку-другую, и...

— Как «недельку», Иван Ваныч? — поперхнулся Змиев, — как «другую»?!

Полугодовой же отчет, и потом жена, и... — Чш-ш! Лишаю слова, Змиев! Не робей, Змиев! Мы потом тебя ре... а-а... билитируем... Премия в размере месячного и те де... Вот пропусти-ка еще одну за будущую премию!

— Иван Ваныч!

— Змиев, надо! Надо! Во-во-во! А мы чего отстали, Муравей? Давай на счет подготовки кадров...

Около часу ночи с черного хода закусочной вывалились две фигуры и поплелись-закачались вдоль притихшего засыпающего переулка.

— Т-ты ж, смотри, не подведи меня, Змей, — бормотала одна из них, которая повыше и потолще. — А ж-жену и детей спасем... Точно?

— Точно, Иван Ваныч... Согласно статьи сорок пятой пункт «бе» уго... уголовного кодекса...

— Э, пож-жди... Это ты, Муравей? А где ж это мы Змея потеряли?

— Отсутствие в ассортименте... Объясняется присутствием.

— Объясняется? Ну и ч-черт с ним! Устраняется от коллек-т-ик-в-ва? Пренебрегает? Ну, и... Споем, а? Э, вдоль по Питерской... А по Тверской-Ямской, да... Стой, Муравей, что-то меня... а-а... отрывает от действис-снос-с... Му-мтит, короче... Убываю домой... М... мероприятия возлагаю на тебя...

Верный помощник отклеился от плеча заведующего и исчез во тьме.

Цепляясь за фонарные столбы, за стены, Иван Иванович с трудом добрался до знакомого дома. Подъезд был закрыт. Это несколько удивило подкопшенного «калгановой» главу «Грош-ценны». Он подергал дверь. Чертыхнулся.

Еще подергал. И, наконец, отчаянно забарабанил в нее кулаками.

— Штучки-дрючки строить?! Змеи подколенные! Открывай, р-расшибу!

Дальше все произошло быстро и точно, согласно разработанному плану. Из ближайшей подворотни и из переулк ринулись дружинники. В мгновение ока «нарушителя» схватили, связали и вдобавок на голову ему набросили рогож- ный мешок из-под соленой рыбы. Пос- леднее, что услышал обалдевший заве-

дующий, был хриплый басок Митрофа- ныча:

— Крыша! Туды его мать! Как в ерманскую!

А потом все исчезло в душной воняв- шей тьме.

Товарищ Муравейчик удовлетвори- тельно икнул, попинал ногой отчаянно трепыхающийся мешок и дал команду вызвать из горотдела дежурную ма- шину.

□ □ □

«Язык мой был тверд и непослушен...»

(ИЗ РУКОПИСЕЙ, ПРИСЛАННЫХ В ИЗДАТЕЛЬСТВО)

«...Остатки живых солдат убежали в свои окопы».

* * *

«Кинжал выпал из рук вместе со свисшей на пол головой».

* * *

«Он терпеливо ждет невдалеке, свесив нижнюю губу. Она у него толстая, розовая и влажная».

* * *

«...Тот странным движением выдающейся нижней челюсти указал ей на стул возле себя».

* * *

«Но люди ездили, а Василий Иванович ремонтировал их, с любовью заделывал все поломки».

* * *

«И все грузовики, самосвалы, столпившиеся у подъезда, повернув головы, зачарованно смотрели вслед уходящему крейсеру автострад».

* * *

«С кровью сдирали с него блатную шкуру. И Толька выдюжил. Стал человеком. Больше того, в науку ударился».

* * *

«Еда для них не была проблемой. Обычно, обходились производством консервных заводов и колбасной фабрики».

* * *

«Мать любила кофе и Ван-Гога».

* * *

«Он мог ножом, простым перочинным ножом, вырезать нецелованную грудь девушки».

* * *

«На Римму он тоже смотрел, как на рюмку с водкой: открыто и честно...»

* * *

«Однако в вопросах экономии энергии наши угольщики... находятся в хвосте и возглавляют его уже многие годы».

* * *

«Это основные киты, на которых крепко и устойчиво держится перерасход».

* * *

«Больше всего пестрели пиджаки и кепки. Попадались, конечно, и шляпы, и тетеньки с авоськами, но мужчин все равно было много».

* * *

«Почва под ногами качалась, как панцирная сетка на двухспальной кровати».

* * *

«Он обнял ее и сделал непозволительные прикосновения».

* * *

«...Он весь дышал жаром любви к искусству».

* * *

«Я подошла к Роберту, обняла его и поцеловала такого, сомневающего, экзальтированного, порой непонятого, но чувствительного ко всему на свете, как фотопленка».

* * *

«К подбородку, словно шкала на градуснике, поднимался большой кадык».

* * *

«В то далекое лето она подарила ему сына и букет желтых цветов».

Собрала Л. ГЛЕБОВА

КТО—КОГО?

(Из воспоминаний Егора Графоманского)

Когда я был молод, жизнерадостен и полон сил, я решил написать роман. Настоящий роман с разговорами, всякими там описаниями, портретами и даже с лирическими, то есть моими собственными, соображениями по тому или иному поводу. Роман мой должен был охватить события от Октябрьской революции до наших дней.

Я не стал ждать вдохновения, как некоторые, я решил оседлать того самого вороного жеребца, прозываемого Пегасом, как говорится, с ходу. Я приходил с работы, заряжал авторучку фабрики «Союз» чернилами фабрики «Красный художник» и... писал, писал... И как писал! У меня такой выработался почерк, что наш бухгалтер Сидор Сидорович икал от зависти, а моя секретарша Тонечка, протягивая бумаги на подпись, не сводила с меня влюбленного взгляда.

Забегая несколько вперед, скажу, что я женился на Тонечке. Вернее, Тонечка вышла за меня замуж. Точно в положенный срок у нас родился сын Вовка. Кто-то из писателей говорил, что лучшее из созданных им произведений — его сын. Я бы этого не сказал. Мое «произведение» так надрывно пищало, когда Тонечка уходила в магазин за продуктами, что временами у меня начинался нервный тик и я начинал подумывать, кого мне бросить — роман или Вовку? Ни того, ни другого я бросить не мог. Вовку надо было воспитывать, роман — заканчивать.

Рос Вовка, худела Тонечка, полнела папка, куда я складывал исписанные каллиграфическим почерком листы.

Когда Вовке исполнилось три года, я поставил точку. На тысяча восемьсот тридцать третьей странице. Это было в воскресенье.

В понедельник я не понес рукопись. Во вторник — тоже. Вторником было тринадцатое число. В среду я торжественно открыл двери нашего издательства.

Директор самолично отвел меня в кабинет самого главного редактора. Главный редактор попросил зайти через недельку.

Я зашел через недельку. Главный редактор попросил сесть, услужливо пододвинул пепельницу и графин с водой. Затем он справился о моем здоровье, о работе, о семье. Меня никто прежде не спрашивал об этом с таким участием. Потом редактор перестал задавать вопросы и достал из сейфа мою рукопись. Из сейфа — понимаете! Чтоб не пропала.

Он перелистал страницу, другую, пятую, десятую... Наконец спросил:

— Что вы хотели сказать?

— Я?.. Ничего.

— Зачем вы тогда писали... это?

— Ах, вы о романе? Но ведь там же все сказано.

— Что — все?

Ничего глупее спросить нельзя. Я не нашелся даже что ответить. Не пересказывать же весь роман — мне завтра на работу с утра.

— Читайте, — говорю, — там написано.

— Я читал, но не понял, — в чем собственно, суть?

Это было уж слишком. Почерк у меня, как я уже отмечал, каллиграфиче-

ский, буковка к буковке. Дурак разберет. А что касается сути...

— У вас нет ни сюжета, ни конфликта, — продолжал между тем редактор, — Ну к чему, спрашивается, этот разговор двух старух на двадцати пяти страницах? Ведь они же ничего существенного не сказали.

Чем дальше, тем больше я понимал, что редактор ничего не понимает. Ни в литературе, ни в жизни. Особенно, подчеркиваю, в жизни. Он ищет что-то существенное в разговоре двух старух! А что может в их болтовне быть существенного? Сидят себе две старухи на скамейке и перебирают по косточкам жильцов нашего дома. А в нашем доме шестьдесят квартир. Удивляюсь, как я еще ухитрился в двадцать пять страниц уложиться. Впрочем, краткость — сестра таланта. Так, кажется, говорил кто-то из великих?

— Или вот, например, откуда и зачем на трехсотой странице появляется вор?

О чем он спрашивает?! Неужели не понимает, что воры никого о своем приходе не предупреждают? А — зачем?.. Ну, это уж даже не смешно.

— И еще... У главной героини вашего, простите..., романа неизвестно каким образом появляется ребенок...

Ну хватит с меня! Если сорокалетний человек не знает, каким образом появляются на свет дети, мне с этим человеком разговаривать нечего. Я схватил рукопись и прямоком — на почту. Да-да, на почту. Куплю, думаю, на рубль марок, но докажу этому болвану-редактору, что значит романы критиковать, что значит из моей жизни за один час несколько лет жизни вычеркивать, что значит меня этого самого авторского права, за которое деньги платят, лишать...

Послал роман в «Новый мир».

Когда Вовке исполнилось четыре года, почтальон вручил мне толстый пакет. Вместо ожидаемых авторских экземпляров в пакете лежал мой роман и рецензия к нему аж на двенадцати страницах с половинкою.

А в рецензии русским языком сказано, что в романе ни сюжета нет, ни конфликта, что в разговоре двух старух

нет ничего существенного, а у главной героини неизвестно каким образом появляется ребенок...

Ясно! Спелись! Созвонились! Зажимают, выходит, хода не дают. Ну, ничего, поглядим кто — кого? Снова на почту — и в «Знамя». У меня рублей хватит. Зарабатываю прилично, Тонечка тоже кое-что получает.

Через полгода — толстый пакет и рецензия на двенадцати страницах с половинкою. Хотел в суд за плагиат подать, да решил пока воздержаться. Послал в «Октябрь».

Потом роман мой побывал в «Неве», «Урале», «Москве», «Дальнем Востоке», «Юности», «Уральском следопыте», «Костре», «Пионере»...

Я не сдавался.

Десятилетний Вовка, завидев почтальона, не без злорадства кричал:

— Папа, опять несует!

После того как рукопись возвратилась из «Огонька», я послал ее в «Рационализатор и изобретатель». Там-то, думаю, люди умные, с наукой знакомые, поймут что к чему. К тому же один знаковый писатель говорил, что литераторы этого журнала избегают. Ну и пусть избегают, пусть в «Новом мире» да в «Знамени» печатаются. Я человек не гордый. Прямо скажу — скромный человек.

Жду. Месяц жду, другой... И вот входит в мой кабинет чуточку побледневший Вовка и протягивает... Нет, не толстый пакет, а тонкий конверт со штампом журнала «Рационализатор и изобретатель». Наконец-то! Дождался! Добился! Там люди умные, с наукой знакомые, знают дело, понимают толк.

Вскрываю конверт, достаю фирменный бланк, читаю...

Очнулся я в больничной палате. Сидевшая рядом медицинская сестра легко так вздохнула и нежным голосом произнесла:

— Вот и прекрасно! Лежите, не двигайтесь. Вам нельзя двигаться. Волноваться тоже нельзя. У вас — инфаркт миокарда.

Я вспомнил про письмо. Да-да, тонкий конверт такой, фирменный бланк и в постскрипте: «Рукописи обратно не возвращаются».



Копыто Пегаса

Владимир ИЗМАЙЛОВ

ДРУЖЕСКОЕ И НЕ ОЧЕНЬ

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

*Геннадия Юрову, автору
стихов «Синий факел»*

Приятно быть приятным и красивым,
Официально зваться молодым...
А факел — что ж?
Пусть будет даже синим,
Да чтоб не походил на синий дым.

СКАЗАТЬ ИЛИ ПРОМОЛЧАТЬ?

*Владимиру Матвееву, ав-
тору двух сборников са-
тирических стихов*

Он, так сказать, без «так сказать»
Стихов похожесть множит.
Стремясь пороки наказать,
Он может и не так сказать,
А не сказать совсем — не может.

ОДНООБРАЗНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

*Олегу Павловскому, — соавтору кни-
ги «Миллион влюбленных», автору
рассказа «Лешкина весна», драма-
тической повести «Гордиев узел» и
многих других произведений*

Рассказы,
Сценарии,
Очерки,
Пьесы
И повести — все в наступление брошено!
Вот если б при разнообразии лестном
Он делал их... однообразно хорошими!..

О ПОЛЬЗЕ МАСТИТОСТИ

*Лауреату Государственной
премии А. Волошину*

Роман закончил Александр Волошин,
Надеюсь я, что вышел он хорошим,
Но коль не очень — критика простит:
Лауреат и в слабости мастит!

ПРОТЕКЦИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

*Гарию Немченко, автору романа
«Здравствуй, Галочкин»*

На его успехи глядя,	На беду завистникам
Молвил некто в кураже:	Дядюшку зовут
— Видно, тетя или дядя	Записбom,
Создавали протече.	Тетку — Журналистика.
За протекцию — спасибо!	

НЕЧТО ТУМАННОЕ

*Владимиру Мазаеву, автору книги
«Птицы не поют в тумане»*

Читательских надежд он, в общем, не обманет,
Но все-таки, прочтя, читатель удивится
Названью «Птицы не поют в тумане»:
Туман-то есть, куда девались птицы?

РУДОЗНАТЕЦ ИЛИ ПЛАВИЛЬЩИК?

*Виталию Рехлову, автору книг «Повесть о Михайле Вол-
кóве», «Горные рекруты», «Серебряный рудник»*

Об историчности с тобой не спорю я,	Свинцовую руду истории
Про повести одно скажу: «Добро.	Сумел ты переплавить в серебро!».

НЕ НАДО ОДАЛЖИВАТЬ!

*Виктору Гюнтеру, автору книги сти-
хов «Одолжите мне день»*

Одолжили...
Во всю мочь
Гонит рифму силой.
...Не одалживайте ночь,
Как бы не просил он:
Днем, подчас, стихи не те,
Что же будет в темноте?

Редактор **Е. БУРАВЛЕВ**

Редакционная коллегия: **В. БАННИКОВ, В. БАЯНОВ,
П. БЕКШАНСКИЙ, В. ИЗМАЙЛОВ, Г. НЕМЧЕНКО, О. ПАВЛОВСКИЙ**
(ответственный секретарь).

Номер оформил художник **Г. ЕФРЕМОВ**. Рубрики «Знаете ли вы, что...» и «Коротко о прошлом» ведет зав. партийным архивом Кемеровского обкома КПСС **А. С. МАЗЮКОВ**.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются
Адрес редакции: Кемерово, Советский проспект, 44.

Художественный редактор **О. Красова**
Технический редактор **Г. Рудина**
Корректоры **В. Маркова, С. Попова, Е. Тимошук**.

ОП00306.	Сдано в набор 27/XII-65 г.	Подписано к печати 3/IV-1966 г.
	Формат 70 × 108 ¹ / ₁₆	Печ. л. 9,1 + 2 вкл. Уч.-изд. л. 9,36.
	Тираж 5000 экз.	Заказ № 10254. Цена 35 коп.

Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Советский проспект, 94.
Типография «Кузбасс», Кемерово, Кузнецкая, 9.



Цена 35 коп.

КЕМЕРОВО 1966